

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·

· ВЕДЕНИЕ



2002



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения



СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ



2002

СЕНТЯБРЬ•

ОКТАБРЬ•

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Содержание

СТАТЬИ

<i>Досталь М.Ю.</i> (Москва). Чешские связи И.И. Срезневского 70-х годов XIX века (К 190-летию со дня рождения ученого).....	3
<i>Гришина Р.П.</i> (Москва). Советские спецслужбы и несостоявшийся переворот. Болгария, сентябрь 1922 года.....	15
<i>Косик В.И.</i> (Москва). Опыт истории страны, которой не было (Сербия в 1918–1941 г.).....	22
<i>Юван М.</i> (Любляна). Поэзия Пушкина и Прешерна о поэзии.....	36
<i>Евстратова А.Е.</i> (Москва). Македонская литература в общегославских эстетических дискуссиях 1950–1960-х годов.....	50
<i>Хорев В.А.</i> (Москва). Литература “человеческого документа”. Польский опыт 1960–1990-х годов.....	59

СООБЩЕНИЯ

<i>Герчикова И.А.</i> (Москва). Чехи в России: история продолжается.....	66
<i>Лаптева Л.П.</i> (Москва). Й. Полишенский (1915–2001). Памяти выдающегося чешского историка XX века.....	73

ПУБЛИКАЦИИ

<i>Торбаков И.</i> (Киев). Письма В.И. Вернадского Ф.И. Родичеву.....	80
---	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Евстратова А.Е.</i> F. Prešern – A.S. Puškin (ob 200-letnici njunega projstva).....	95
<i>Муслиенко С.</i> История литератур западных и южных славян. Т. III.....	97
<i>Калашников А.А.</i> Słowiańskie słowniki gwarowe.....	105
<i>Ацаркина Т.А.</i> M. Hrdlička. Predložky ve vyuce češtiny jako cizího jazyka.....	109

<i>Лескинен М.В.</i> Конференция “Оппозиция сакральное/светское в славянской культуре”.....	111
<i>Филимонова Т.</i> Международный симпозиум “Словенский литературный язык – актуальные вопросы и исторический опыт”. К 450-летию издания первой словенской книги	116
<i>Проскурнина М.</i> Международная научная конференция “Центральная и Юго-Восточная Европа: литературные итоги XX века”	118
<i>Якушкина Е.И.</i> Конференция по славянской филологии в МГУ	120
<i>Ржанникова О.А.</i> К выходу в свет “Грамматики болгарского языка для владеющих русским языком”	123
Новые издания Института славяноведения	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.К. ВОЛКОВ (главный редактор), **А.В. БОЛДОВ** (отв. секретарь),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, **Г.К. ВЕНЕДИКТОВ**,
Р.П. ГРИШИНА, **В.И. КОСИК**, **Г.Ф. МАТВЕЕВ**,
В.В. МОЧАЛОВА, **С.В. НИКОЛЬСКИЙ**, **В.Я. ПЕТРУХИН**,
М.А. РОБИНСОН (зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА, **Б.Н. ФЛОРЯ**, **В.А. ХОРЕВ**, **Т.В. ЦИВЬЯН**

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),
Васильев М.А. (отдел истории)

Зав. редакцией *Е.В. Пономарева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А.*, *Веслова И.Ю.*, *Кошкина Е.А.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32а. Телефон 938-01-20
 E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

РУКОПИСИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В РЕДАКЦИЮ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ ОБЪЕМОМ: СТАТЬИ – ДО 24 МАШИНОПИСНЫХ СТРАНИЦ ТЕКСТА ЧЕРЕЗ 2 ИНТЕРВАЛА, КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР – 14 РАЗМЕР, ПОЛУТОРНЫЙ ИНТЕРВАЛ, ШРИФТ TIMES, WORD 6/95; СООБЩЕНИЯ – ДО 16 СТР.; РЕЦЕНЗИЯ, ЗАМЕТКИ О НАУЧНОЙ ЖИЗНИ И Т.Д. – ДО 6-7 СТР. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ ДИСКЕТЫ С ПРЕДЛАГАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ. РУКОПИСИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.



© 2002 г. М.Ю. ДОСТАЛЬ

ЧЕШСКИЕ СВЯЗИ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО 70-х ГОДОВ XIX ВЕКА

(К 190-летию со дня рождения ученого)

Научные связи русских и чешских славистов имеют давние традиции. Большого расцвета они достигли в 40–60-х годах XIX в., в немалой степени способствуя развитию славяноведения в обеих странах [1; 2]. Значительный вклад в расширение этих связей внес крупнейший русский славист И.И. Срезневский (1812–1880). Начиная с 40-х годов XIX в., он постоянно выступал популяризатором передовых для своего времени достижений чешской славистики в России. Этой цели служили его статьи в русских научных журналах, выступления на заседаниях Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук (далее – ОРЯС) и т.д. [3; 4].

В 1870-е годы эти связи не были прерваны, хотя из жизни ушли многие прежние корреспонденты И.И. Срезневского (Ф.Л. Челаковский, П.Й. Шафарик, В. Ганка, К.Я. Эрбен и др.). Ему – вместе с представителями более молодого поколения русских славистов – В.И. Ламанским, В.В. Макушевым, А.А. Котляревским, А.А. Кочубинским и другими, неоднократно бывавшими в 1870-х годах в Чехии в научных командировках [5. С. 39–43], – удалось установить и поддерживать научные контакты со многими видными чешскими учеными своего времени. Среди корреспондентов И.И. Срезневского в 1870-е годы был его старый знакомый профессор чешского языка А.В. Шембера (1807–1882), с которым они вновь встретились в Вене в 1871 г. [6. Оп. 2. Д. 58. Л. 9, 10]. В те годы И.И. Срезневский переписывался и обменивался книгами с хранителем Библиотеки чешского Национального музея А. Патерой (1836–1912), архивариусом Праги Й. Эмлером (1836–1899), председателем (с 1875 г.) Чешского королевского ученого общества Й. Иречком (1825–1888) и др. Большинство этих писем, за немногим исключением [7. С. 97–112], не опубликовано.

Чешские связи И.И. Срезневского 70-х годов XIX в., сравнительно мало изученные [8. С. 20–21; 9. С. 107–114], представляют самостоятельный научный интерес ввиду того, что в них, как в капле воды, отразились некоторые важные проблемы русской и чешской славистики того времени. Они и являются предметом настоящего исследования.

Досталь Марина Юрьевна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

В 70-е годы, несмотря на преклонный по понятиям XIX в. возраст и болезни, И.И. Срезневский продолжал свои научные исследования, постоянно обращаясь к чешской проблематике. Она была хорошо представлена в его университетских курсах “Славянские древности”, “История славянского языка по наречиям”, “Древности западнославянской словесности” и др. Он постоянно поощрял занятия богемистикой своих студентов, назначая соответствующие темы курсовых работ [10. С. 387–395]. Кроме того, по инициативе Срезневского темы по славистике, в частности по богемистике, нередко выдвигались на медаль историко-филологического факультета Петербургского университета. Так, в конце 1869 г., в связи с 500-летием со дня рождения чешского реформатора Я. Гуса (1369¹–1415) студентам университета была предложена тема “Иоанн Гус, обзор его жизни и чешских сочинений”. Золотой медали был удостоен в 1870 г. выпускник университета Г. Анненков. В память известного чешского писателя и ученого К.Я. Эрбена Срезневский на 1872 год выдвинул тему: “Об успехах изучения народной поэзии у западных славян с обозначением правил собирания, издания и объяснения памятников”. Золотую медаль за работу по этой теме получил студент четвертого курса В. Ивацевич. На 1878 г. студентам университета было дано задание: “Представить критическую оценку с приложением отрывков в русском переводе хроники Козьмы Пражского”. Золотой медали был удостоен студент третьего курса В. Регель, серебряной – студент второго курса П. Колев, похвального отзыва – студент того же курса Л. Рожковский [11. С. 128; 12. С. 110; 13. С. 75].

Как действительный член императорской Академии наук, И.И. Срезневский и в 1870-е годы продолжал выступать в ОРЯС с сообщениями о новостях чешской науки, почерпнутых из переписки и присылаемых книг, и о результатах собственных исследований по богемистике.

Поводом для сообщений И.И. Срезневского являлись прежде всего известия о юбилеях и кончине известных чешских ученых. На одном из декабрьских заседаний ОРЯС И.И. Срезневский сообщил о смерти 9 (21) ноября 1870 г. К.Я. Эрбена и рассказал о главных событиях его жизни и научной деятельности [14. 1872. Т. 8. С. XVI]. С подобным же сообщением он выступил и на заседании учрежденного в 1869 г. при Петербургском университете Филологического общества [15. С. 33–34]. По его инициативе Отделение направило приветственную телеграмму по поводу 70-летия со дня рождения члена-корреспондента ОРЯС, видного чешского историка и филолога А.В. Шемберы. Срезневский был автором текста этой телеграммы [14. 1878. Т. 18. С. 1]. После соответствующего представления ученого почетными членами Академии наук были избраны в 1878 г. Й. Эмлер [16. Оп. 5. Д. 235] и А. Патера [6. Оп. 1. Д. 1506].

Выступления И.И. Срезневского в ОРЯС часто были откликами на выход важных в научном отношении книг и изданий чешских ученых, на известия об их текущей работе. Так, на заседании ОРЯС в феврале 1877 г. ученый сообщил о подготовке А. Патерой издания переписки Й. Добровского [14. 1877. Т. 17. С. XI], а на одном из заседаний весной 1879 г. – о его новом важном открытии в Библиотеке Пражского митрополитского капитула “чешских славянских глосс к беседам Григория папы XI–XII века” (имеется в виду папа Григорий IX [1145–1241]), вошедших в науку под названием “Святогрегоровских” или “Патеровых” [14. 1880. Т. 20. С. VI].

Осенью 1874 г., отчитываясь перед ОРЯС об участии в работе Киевского археологического съезда [14. 1875. Т. 12. С. VI], И.И. Срезневский сообщил о своем важном научном открытии. На выставке древних рукописей, приуроченной к съезду, он обнаружил неизвестный глаголический памятник, названный им “Киевские глаголические листки”. (В настоящее время “листки” признаны памятником старославянской письменности первой половины X в. [17]. – М.Д.) Срезневский впервые опубликовал и исследовал этот памятник и установил, что он является старославянским переводом

¹ По современным данным, Я. Гус родился в 1371 г.

латинского миссала “римско-католического обряда”. Убеждение в большей древности кириллицы, идущее от Й. Добровского, останавливало ученого от признания глубокой древности этой глаголической рукописи. Однако впоследствии, безуспешно разыскивая латинский подлинник, который мог бы подтвердить или опровергнуть древность памятника, в частности, работая в Парижской Национальной библиотеке в 1875 г., Срезневский приходит к выводу, “что надобно искать подлинник, соответствующий славянскому переводу в самых древних миссалах или же по крайней мере в каких-нибудь особенных, не общераспространенных” [18]. Только в 1928 г. удалось обнаружить подлинник миссала в Падуанском кодексе VI–VII вв., хранящемся в Папской библиотеке в Ватикане [19. С. 5].

И.И. Срезневский впервые указал на наличие ряда чехизмов в этом памятнике и на его чехо-моравское происхождение, что дало впоследствии основание предполагать существование в X–XI вв. “чешского типа” старославянского языка [19. С. 3]. В то же время он обратил внимание на наличие в памятнике “юсовых гласных и вообще черт древнего старославянского языка” [20. С. 185]. В дальнейшем мнения исследователей “листочков” о происхождении памятника разделились: одни (В.И. Ламанский, А.И. Соболевский, П.А. Лавров, Н.К. Грунский, И.В. Ягич, А.М. Селищев) вслед за И.И. Срезневским определяли их как памятник западнославянской письменности (в основном чешской); другие (Ф.Ф. Фортунатов, Б.М. Ляпунов, В.Н. Щепкин и др.) “отстаивали целостность языка киевских листков и искали родину этого памятника в землях южных славян, в частности, в Болгарии” [21. С. 252]. В настоящее время вторая гипотеза происхождения “Киевских листков” большинством исследователей признана недостаточно обоснованной [21], хотя спор не закончен до сих пор [22. С. 253].

Но наибольшее внимание И.И. Срезневского в 1870-е годы привлекала проблема подлинности ряда древнечешских рукописей, “открытых” еще в 10–20-е годы XIX в. Главными среди них, по научному и национально-культурному значению, считались Краледворская рукопись, “найденная” В. Ганкой в 1817 г. в Краловом Дворе, и Любушин (Либушин) суд (Зеленогорская рукопись), присланная анонимно в Прагу в 1818 г., как выяснилось в 1850-е годы, из Зеленой горы. Краледворская рукопись представляла собой сборник эпических и элегических песен, составленных, по мнению первых исследователей, в конце XIII – начале XIV в. Зеленогорская рукопись содержала в себе “былину”, где описывался спор о наследстве двух братьев Кленовичей и его судебное разрешение на сейме под председательством княжны Любуши (Либуше). Список памятника был отнесен к IX–X вв. Рукописи имели ярко выраженный общеславянский и антинемецкий характер и, по замыслу фальсификаторов, должны были свидетельствовать о высоком уровне образованности не только древних чехов, но и всех славян в раннем средневековье. Другие “открываемые” рукописи как бы подтверждали “подлинность” главных “национальных святынь” и разнообразие древнечешских литературных и языковых памятников. Среди них находились “Песнь под Вышеградом”, “обнаруженная” Й. Линдой в 1816 г., “Любовная песнь короля Вацлава” (Я. Циммерман, 1819), чешские глоссы в латинском средневековом словаре “Mater verborum” (Е. Графф, 1827), “Открывки из перевода Евангелия от Иоанна” (В. Ганка, 1828) и наконец “Пророчество Любуши” (В. Ганка, 1849). Некоторые из этих рукописей довольно скоро были разоблачены как поддельные, но главные из них долгие годы почитались национальными святынями. В этом лишний раз убеждал чешских патриотов капитальный труд таких авторитетных ученых Чехии, как Ф. Палацкий и П.Й. Шафарик “Древнейшие памятники чешского языка” (1840). Сомнения Й. Добровского в подлинности Зеленогорской рукописи и Е. Копитара в подлинности обеих рукописей в то время игнорировались. Они получили широкую известность в славянских землях. Русские переводы этих рукописей, сделанные А.С. Шишковым, появились уже в 1820 и 1821 гг. Они неоднократно привлекали внимание русских ученых [23. С. 2–3, 35–36].

Несмотря на очевидный вред всякого рода мистификаций для развития науки, нельзя отрицать некоторую положительную роль, которую рукописи сыграли на первых этапах чешского национального Возрождения, способствуя укреплению национального самосознания чехов, являясь важным аргументом в их борьбе против германизаторской политики австрийских властей. Кроме того, общенациональное значение рукописей, а также споры вокруг них несомненно способствовали активизации исследований в области древнечешского языка, чешской литературы, истории, права, что впоследствии создало тот прочный научный фундамент, который позволил разоблачить подделки и сбросить с пьедестала “национальных кумиров”.

В 1850-е годы в немецкой публицистике и научной печати появились статьи, ставившие под сомнение подлинность ряда указанных рукописей. Особенно резкой, кощунственно обвиняющей В. Ганку в подлоге, являлась анонимная статья, опубликованная в газете “Tagesbote aus Böhmen” под редакцией Д. Ку. Чешские ученые Ф. Палацкий, В.В. Томек, В. Небеский, Й. и Г. Иречеки и другие дружно встали на защиту рукописей. В 1858–1859 гг. полемика достигла апогея. Лидеры чешского национального движения вынудили В. Ганку подать в суд за оскорбление личности на редактора газеты Д. Ку. При поддержке чешских патриотов В. Ганка выиграл процесс, а Д. Ку был осужден. Большинство чешских ученых и общественных деятелей “антирукописные” нападки немецкой прессы были расценены как покушение на чешские “национальные святыни”. В тяжелой атмосфере “баховского неоабсолютизма” защита рукописей стала поводом для выражения национальных чувств. Тем более, как выяснилось впоследствии, нападки немецкой прессы на рукописи были инспирированы пражской полицией [24. S. 28–29].

Русские ученые (А.Н. Пыпин, И.И. Срезневский, П.А. Лавровский, А.А. Куник, А.А. Котляревский, П.А. Ровинский и др.) проявили большой интерес к полемике по поводу подлинности рукописей, освещали ее ход в русской печати, посвятили предмету ряд самостоятельных исследований. При этом все они, как и их чешские коллеги, безусловно стояли за подлинность рукописей [23. S. 35–36; 25. S. 67–94].

Между тем к началу 60-х годов XIX в. в научный оборот были введены новые, бесспорно подлинные, источники по истории древнечешского языка (среди них чешские средневековые грамоты, опубликованные К.Я. Эрбеном в 1855 г.) [26]. Они существенно расширили знания по истории чешского языка и позволили выявить в “древнечешских” рукописях ряд несоответствий предполагаемому времени их создания.

Первые серьезные аргументы такого несоответствия привели немецкие ученые. Так, видный палеограф Г. Пертц уже в 1847 г. доказывал, что некоторые палеографические особенности “Суда Любуши” – исцарапанный пергамент, чернильные линейки – могли появиться не ранее начала XIV в. [27. S. 465]. В 1860 г. в Вене вышла в свет книга Ю. Фейфалика “О Краледворской рукописи”, в которой он стремился доказать невозможность ее существования в контексте средневековой литературы XIII в. Среди аргументов против подлинности рукописи указывалось на некоторые параллельные места в ней и ряде чешских средневековых стихотворных памятников (в частности, “Александреиде” начала XIV в. и хронике Штильфрида конца XIII – начала XIV в.) [28. С. 180–192].

Ввиду этого в 1860-е годы защитники подлинности рукописей вынуждены были постепенно отказываться от ранее принятой их датировки и относить к более позднему времени, тем более, что новые доказательства этому приводили и славянские ученые. В 1863 г. О.М. Бодянский, публикуя перевод на русский язык “Книги о разнообразии мира...” Марко Поло, впервые указал на сходство ряда мест из нее с некоторыми фрагментами поэмы “Ярослав” из Краледворской рукописи. В 1868 г. Я. Воцель в книге “Pravěk země české” впервые привел указанные совпадения с чешским переводом книги Марко Поло, составленным не ранее 1320 г. [24. S. 110–113]. 19 декабря 1859 г. Шафарик на заседании Чешского королевского ученого общества сообщил о результатах своего исследования наследственного права древних славян.

Он нашел ряд несоответствий с картиной правовых отношений, представленной в Зеленогорской рукописи, касающихся главным образом права первородства в наследовании как отличительной особенности, по тогдашним представлениям, германского права. Однако сделать из этого вывод о подложности “Суда Любуши” Шафарик не решился [29. С. 3–10].

В 1870-е годы ряды противников подлинности рукописей пополнились не только немецкими, но и чешскими учеными – А. Вашеком, А.В. Шемберой, А. Патерой и др. Совместные поиски истины и составили главное содержание связей И.И. Срезневского с чешскими учеными в этот период.

Ученый издавна следил за ходом дискуссии и в разные годы посвятил этой проблеме ряд статей и рецензий [30–40], неизменно оставаясь в рядах защитников подлинности рукописей. В конце 1860-х годов в связи с работой по составлению нового лекционного курса “Древности западнославянской словесности”, где давался палеографический анализ ряда старославянских памятников по XIV в. включительно, Срезневский углубился в изучение как самих рукописей, так и новой литературы о них. Поводом к сомнению в древности Краледворской и Зеленогорской рукописей послужили, по его собственному признанию, указанные выше “приговор Пертца и замечание Воцеля” [41. С. 404–405]. Так, анализируя перед студентами Краледворскую рукопись, Срезневский указывал не только на сходство отдельных мест с сочинением Марко Поло и хроникой Штильфрида, но и со “Словом о полку Игореве”, Хроникой Козьмы Пражского, сопоставления с которыми в научной литературе появились лишь в 1880-е годы [24. С. 112]. Однако эти “сходства” Срезневский трактовал не как возможные источники создания рукописи фальсификатором, а только как “культурные заимствования”, показатель общекультурного уровня составителя и относил поэтому памятник к более позднему времени: “Общий рисунок рукописи более всего походит на чешскую библию XV в.” [16. Оп. 1. Д. 778. Л. 22].

Более основательно ученый исследовал Зеленогорскую рукопись и нашел ряд новых аргументов против ее древности, основываясь на данных последних исследований по языкознанию, истории, древнему славянскому праву и др. Во-первых, он убедительно доказал, что ряд слов и выражений в “Суде Любуши” (“*desky pravdotatne*”, “*vypověd*”, “*nalez*” и др.) не могут относиться к IX в., так как означают понятия и отношения, сложившиеся в более позднее время “сближения чехов с латино-германским западом”. Во-вторых, заметил, что ряд местных имен князей по владению (“*Radovan od Kamena Mosta*”, “*Chrudoš od Otawy*”) грамоты зафиксировали только в XI–XII вв. В-третьих, указал, что “представление права первородства в наследии, как права немецкого, ... также дает знать об обычаях феодальных в их позднейшем развитии”. В-четвертых, Срезневский показал относительность древности отдельных черт языка этого памятника и наличие некоторых из них в грамотах XI–XII и даже XIII–XIV вв. [14. 1872. Т. 8. С. V]. Таким образом, ученый пришел к выводу, что Зеленогорская рукопись – памятник не IX–X вв., как считали ранее, а по крайней мере XI–XII вв. Примечательно, что на основании подобных аргументов противники подлинности Зеленогорской рукописи доказывали в дальнейшем ее поддельность. Срезневский же для того, чтобы оправдать различные противоречия в “Суде Любуши”, подчеркивал, что это “не есть верный голос того времени, о котором идет речь, а гораздо [более] позднее воспроизведение предания, в котором древний быт мог быть описан только по произвольной догадке слагателя” [14. 1872. Т. 8. С. V]. Следовательно, эта рукопись может рассматриваться только как литературный памятник, но не исторический источник “показаний о быте, обычаях и понятиях того отдаленного времени” [40. С. 33].

И.И. Срезневский познакомил с результатами своих исследований Зеленогорской рукописи своих ученых коллег уже в 1870 г. на нескольких заседаниях ОРЯС и Филологического общества. Выдержки из протоколов этих заседаний были опубликованы в 1870 и 1873 гг. [14. 1872. Т. 8. С. V; 15. С. 26–33]. Но напечатать статью по результатам своего исследования Срезневский не решился, считая сделанные заключения

слишком смелыми и "из нежелания оскорбить своими выводами тех глубокоуважаемых мною чехов, которые стояли безусловно за крайнюю древность былины" [40. С. 34].

Вновь обратился ученый к этому вопросу только в конце 70-х годов XIX в. В 1877 г. вышла в свет статья А. Патеры и А. Баума «Чешские глоссы и миниатюры в "Mater verborum"» [42], где Патера, после долгих колебаний (с 1866 г.), решился, наконец, заявить о подделке ряда чешских глосс в этом памятнике. Срезневский знал о ходе работы чешского палеографа задолго до публикации статьи, возможно, со времени своего пребывания в Праге летом 1869 г.² Во всяком случае уже в 1870 г. ученый к слову заметил: «Многие древнеславянские памятники остаются вообще неизвестными, а другие, в которых (как, например, в чешском "Mater verborum") несомненно – древнее перемешано с поддельным, неисследованным палеографически» [43]. О работе Патеры сообщал Срезневскому и А.А. Котляревский, посетивший Прагу поздней осенью 1875 г.: "Оказывается, что Шафарик и Палацкий просмотрели много глосс и сверх того – вовсе не обратили внимания на то, что не все глоссы равномерной древности, что есть очень старые, почти современные рукописи, есть много позднейших и подозрительных. Труд мозольный, но прекрасный! Оказывается, чем старше глоссы – тем они естественнее и народнее" [6. Оп. 1. Д. 1249. Л. 26].

Переписка Срезневского с Патерой 1877–1879 гг. также в основном касалась этого предмета. Вместе с письмом от 28 июля 1877 г. Патера послал на отзыв Срезневскому русский перевод своей статьи о глоссах в "Mater verborum": "Если Вы найдете ее достаточно интересной, то извольте ее опубликовать, где Вам будет угодно" [6. Оп. 1. Д. 1506. Л. 6]. Срезневский принял статью очень охотно, выступил с сообщением о ней на очередном заседании ОРЯС [14. 1878. Т. 18. С. V], добился разрешения опубликовать ее в "Записках" и "Сборнике" ОРЯС, дополнив статью своими примечаниями. Письма 1878 г. свидетельствовали о ходе работы по изданию статьи и над примечаниями к ней. Исследуя самостоятельно чешские глоссы в "Mater verborum", Срезневский неоднократно спрашивал мнение Патеры по интересующим его вопросам, например, к какому времени относили появление чешских глосс отдельные ученые, кого Патера считает поддельщиком глосс и т.д. В своей статье Патера уклонился от ответа на последний вопрос, но в письме Срезневскому от 27 марта 1878 г. ответил на него откровенно: "Не имея доказательств, не могу определенно сказать, кто был поддельщиком глосс, но при всем уважении, которое я питаю к Ганке, не могу избежать подозрений, что Ганка (может быть, со своим приятелем Линдой) подделал глоссы" [6. Оп. 1. Д. 1506. Л. 9об.]. И приводил доводы в пользу своих подозрений: странность того факта, что сам В. Ганка не заметил чешских глосс до показа рукописи Е. Граффу, который их там немедленно обнаружил, а также то, что чешским ученым были известны случаи исправлений и вписок Ганки в древние рукописи, хранимые в Национальном музее, и которые ему, как его библиотекаря, всегда были доступны. Патера указывал также, что первоначально глоссарий датировали 1102 г., но впоследствии была установлена правильная дата: 1202 г. [6. Оп. 1. Д. 1596. Л. 9].

А. Патера просил И.И. Срезневского прислать ему корректуру статьи и исправить, по возможности, ошибки в русском переводе и примерах на старославянском языке. В письме от 19 мая 1878 г. он благодарил Срезневского за присылку первых отпечатанных листов статьи, через В.И. Ламанского отослав исправления опечаток [6. Оп. 1. Д. 1506. Л. 11]. Замеченные Патерой опечатки не были исправлены в русском издании статьи. Оправдываясь перед Патерой, Срезневский писал: "Винюсь в них, хотя, если бы [Вы] видели, как, помимо корректуры, и сам я сидел за корректурами, сличая их с Вашим переводным и чешским изданием, где тоже есть

² В письме от 5 февраля 1877 г. А. Патера писал И.И. Срезневскому: «Если не ошибаюсь, я показывал Вам по время Вашего последнего пребывания в Праге (в 1869 г. – М.Д.) свою работу, касающуюся "Mater verborum"». См.: [6. Оп. 1. Д. 1506. Л. 5].

опечатки, и как мои дети помогали мне, то не думали бы, что дело делалось небрежно. Почему же не напечатаны Ваши [присланные] мне опечатки? Не считая уместным винить в этом кого бы то ни было, каюсь и в этом, как и в том, что не вздумал послать Вам корректуры" [6. Оп. 1. Д. 1085. Л. 2]. Хотя, как видно из письма, опечатки в русском переводе статьи не были преднамеренными, Патеру глубоко возмутила такая небрежность. 27 декабря 1878 г. он писал В.И. Ламанскому: "Если бы Академия стала издавать таким образом работы других славян, этим она отучила бы их писать по-русски и посылать свои труды к вам. Я, по крайней мере, потерял охоту" [44]. Видимо, это обстоятельство было главной причиной возникшего между учеными отчуждения.

Срезневский предполагал, что "обидел" Патеру и "обидел сильно" больше своими "Дополнительными замечаниями" к его статье в русском переводе, в которой не во всем согласился с выводами чешского ученого. Срезневский глубоко сожалел, что его замечания "как будто порвали" их "прежние дружелюбные отношения – с обеих сторон столь же чистые, сколь и независимые", и заверял Патеру, что не потерял уважения к нему, как и ко всем "людям науки, честно трудящимся, да и вообще хорошим", которые необходимы ему "лично" и "как отцу семейства" [6. Оп. 1. Д. 1085. Л. 2]. Так или иначе, но чешский ученый прекратил переписку со Срезневским после опубликования его статьи в России. Как бы заранее оправдываясь за свои "Дополнительные замечания", Срезневский писал Й. Иречку 20 мая 1878 г., что их целью не является "навести тень на превосходную работу" А. Патеры, но только "выразить свое посильное сочувствие к трудам такого рода" [6. Оп. 1. Д. 1048. Л. 2].

Позиция, занятая Срезневским в "Дополнительных замечаниях" к статье Патеры, была крайне непоследовательной и противоречивой. С одной стороны, он признал в целом основательность сомнений Патеры в подлинности двух третей чешских глосс в "Mater verborum" и сожалел о том, что они прочно вошли в научный оборот благодаря трудам авторитетных чешских ученых. Но, с другой стороны, он не решался все же категорически признать подделку. Срезневский полагал, что "заподозренные глоссы" могли быть вписаны в текст в "древнее время, когда не было надобности ни в каких особенных знаниях, ни в какой особенной осторожности". Но даже если доказано будет, что глоссы – подделка XIX в., то они, по мнению ученого, могли быть списаны "с какого-нибудь утраченного или скрывающегося древнего памятника" [39. С. 151].

Колесания и ход рассуждений И.И. Срезневского, мучительный поиск им научной истины хорошо отражены в его переписке с соотечественниками: А.А. Котляревским, В.В. Макушевым, А.Е. Викторовым и И.А. Бодуэном де Куртенэ. Главной причиной сомнения Срезневского и других защитников подлинности рукописей в возможности подделки было в то время убеждение, что в первой трети XIX в. в Чехии не было ученого, настолько глубоко знавшего древнечешский язык, "чтобы избегнуть ошибок в знании понятий времени (XII–XIII вв. или, когда тогда думали, XI–XII вв.)". Такими знаниями, по его мнению, не обладали ни В. Ганка, ни Й. Линда, ни Й. Юнгман, ни А. Пухмайер [45; 6. Оп. 1. Д. 1060. Л. 40–40об.]. "Тот, кто подделал эти глоссы, – писал Срезневский 19 апреля 1878 г. Бодуэну де Куртенэ, – ...должен был быть, мне кажется, гораздо умнее, осторожнее, чем сам Добровский, должен быть чародеем" [6. Оп. 1. Д. 1037а. Л. 7]. "Кудесническое" мастерство поддельщика, по мнению Срезневского, проявилось в "самобытности" правописания глосс, их выборе и переводе на чешский язык. В письме Викторову от 24 февраля 1878 г. он указывал: "Эта последняя сторона самобытности такова, что заставляет изумиться не только знанию, но и чутью поддельщика: как будто ему были знакомы те памятники, которые [будут] открыты позже и гораздо позже, и все исследования о языке и обычаях литературных, которые или сделаны гораздо позже и доселе еще не сделаны. И этот поддельщик работал до 1827 г., если еще не до 1818, в то время, когда знатоков древности было вообще очень мало, а таких как Гримм и Востоков... не было" [46]. Таким образом, Срезневский остался в рядах защитников чешских глосс в "Mater verborum".

В 1878–1879 гг. в Чехии с новой силой разгорелась полемика по поводу подлинности Зеленогорской и Краледворской рукописей. А. Вашек [47] и А.В. Шембера [48] открыто заявили в печати о подделке этих памятников, прямо обвиняя В. Ганку и Й. Линду в подлоге. В то время это был акт большого гражданского мужества. Данные работы вызвали яростные нападки со стороны защитников рукописей, в частности, Й. Иречека, В.В. Томека, В. Брандла, М. Гатгалы, Й. Эмлера и др. Общественное мнение осудило их как изменников национальному делу. И.И. Срезневский знал о полемике из писем самих участников дискуссии. А. Патера прислал ему вырезку из газеты "Pokrok" (№ 57. 1878), где исследования А.В. Шемберы оценивались как легковесные и антипатриотические, противопоставлялись осторожным, осмотрительным и основательным выводам А. Патеры о подделке двух третей чешских глосс в "Mater verborum" [6. Оп. 1. Д. 1506. Л. 14].

Й. Иречек, в свою очередь, прислал И.И. Срезневскому свою статью [49], где опровергал аргументы А.В. Шемберы о подложности Зеленогорской рукописи и о В. Ганке как о фальсификаторе рукописей. В ответном письме от 20 мая 1878 г. русский ученый заявил о своей солидарности с автором во мнении, что "Былина о Суде Любуши" не является "новой подделкой", однако "отнести ее можно скорее к XII–XIII в., чем к более древнему" [6. Оп. 1. Д. 1048 б.].

О своих раздумьях над проблемой подлинности древнечешских рукописей писал Срезневскому и Шембера в письме от 10 февраля 1879 г.: «Вы определенно читали, какая распря тянется у меня уже год с некоторыми чешскими литераторами о подлинности "Любушина Суда". Она вынудила меня написать большое сочинение, в котором я широко развертываю свои аргументы. Когда в 1840 г. Вы привезли мне из Праги в Оломоуц и показали только что отпечатанные тогда первые листы сочинения Шафарика "Древнейшие памятники чешской литературы" (точнее, "языка". – М.Д.), я не мог и предположить, что мне суждено будет почти через 40 лет встать в ряды оппозиции против этого сочинения, в основательности которого мы оба тогда были уверены. Я также никогда не подозревал, что наш общий приятель Ганка в своей молодости совершал такие легкомысленные поступки, которые ныне выходят в свет. Знаю, что мое сочинение Вас заденет, как и всех тех, кто были увлечены "Любушином Судом", но верю в Вашу рассудительность и в то, что Вы мне поверите» [6. Оп. 1. Д. 1546. Л. 15–16 об.].

В ответном письме от 16 февраля 1879 г. Срезневский откровенно и дружески рассказал о своих глубоких внутренних переживаниях и сомнениях, связанных с разоблачениями рукописей как подделок: "Теперь я стою у порога сомнений и недоумений, а Вы перешли и за этот порог и прежде других старых защитников неподдельности этих песен смело отказались от них как поддельных. Не чувствую в себе ни сил, ни прав отказаться от уважения, воспитанного во мне долгим навыком к таким людям добра и знания, какими были Юнгманн, Челаковский, Воцель, Эрбен и многие другие достойные представители чехословацкого народа, с которыми удалось мне лично сблизиться. Не говорю о Ганке, которого любил как доброго человека, никогда не ценя в нем ни знаний, ни дарований... Я позволил себе только недоверие к палеографическим и внешним археологическим знаниям чешских ученых особенно с тех пор, как занялся археологическим разбором "Былины о Суде Любуши" и пришел к убеждению, что она могла быть составлена никак не ранее XI–XII века, если не позже... Далее я не пошел. Да более мне лично и не нужно. Нужно было бы мне сохранить в себе уверенность в знании древностей чешского языка Добровским, Юнгманом, Шафариком, Палацким, Челаковским и т.д. и горько, можно сказать невыносимо, расстаться с нею... Вообще расстаться с уважением к мертвым гораздо тяжелее, чем с уважением к живым" [41. С. 405].

В этом поразительно искреннем письме, которое сам Срезневский просил рассматривать, как "исповедь", отчетливо проявилась та внутренняя психологическая мотивация, которая не позволила ему сделать последний, решительный шаг к признанию "древнечешских" рукописей новейшими подделками. Сложилась парадоксальная

ситуация, когда романтический аспект восприятия рукописей, сложившийся в юности, возобладали над критическим и скептическим (по воспоминаниям современников) складом ума ученого в зрелом возрасте при их конкретном анализе.

Сообщения о полемике по поводу подлинности рукописей появились и в российской научной печати [23. С. 17–28], что побудило ряд отечественных славистов заявить о своей позиции. Именно в это время (1879) И.И. Срезневский, наконец решается опубликовать свое исследование "Былины о Суде Любуши", в котором, как уже указывалось, он изменяет ее датировку, не признавая ее, однако, подделкой нового времени. В отличие от Срезневского, слависты более молодого поколения, не столь связанные грузом научных традиций и авторитетов (В.В. Макушев, В.И. Ламанский, А.А. Кочубинский), решительно выступили с разоблачениями подделок. Колебания и сомнения Срезневского подвергались ими язвительной критике. В частности, Ламанский назвал статью Срезневского в защиту подлинности Зеленогорской рукописи "блестящей адвокатской речью", "памятником ораторского искусства" в защиту и оправдание В. Ганки (цит. по: [23. С. 23]). Следует признать, что далеко не все русские ученые, так или иначе соприкоснувшиеся с проблемой подлинности рукописей, безоговорочно встали на сторону разоблачителей фальсификатов. Колебания и осторожность в высказываниях проявили, например, А.Н. Пыпин и А.В. Стороженко. Это и неудивительно, ведь и в самой Чехии, как уже указывалось, защитники подлинности рукописей в 1870-е годы находились в преобладающем большинстве. В чешской науке этот период стал как бы подготовительным этапом перед 1880-ми годами, когда чешские ученые во главе с Т. Масариком и Я. Гебауэром повели решительную борьбу за разоблачение подделок и убедили общественное мнение в необходимости этого "очистительного" шага для блага нации. И хотя основательные палеогеографические, историко-языковые и историко-литературные доказательства поддельности не смогла тогда дополнительно подтвердить естественнонаучная экспертиза³, защитники рукописей с этого времени оказались в меньшинстве. В подобной ситуации сомнения и колебания Срезневского в вопросе о подлинности рукописей и сознательное нежелание им признать их фальсификатами представляются нам понятными, их нельзя расценивать категорически как только научную недальновидность. В 1870-е годы сомнения в подлинности рукописей были еще научной гипотезой.

Суммируя сказанное выше, можно определить целый ряд причин, по которым И.И. Срезневский не решился в те годы решительно признать поддельность рукописей. Во-первых, он прекрасно понимал их патриотическое значение в деле чешского национального Возрождения и, сочувствуя чешскому движению, не хотел разоблачения "общих ценностей всех славян". Во-вторых, он очень считался с мнениями авторитетных чешских ученых, не сомневавшихся в подлинности рукописей. Срезневский был искренне убежден в невозможности столь искусной подделки для уровня науки первых десятилетий XIX в. Наконец, в-третьих, многолетняя дружба с подозреваемым в фальсификации В. Ганкой, критическая оценка его научных трудов приводили Срезневского к убеждению, что он не обладал достаточными научными знаниями для столь талантливой подделки. Можно предположить также, что отстаивание подлинности рукописей являлось своеобразным ответом И.И. Срезневского на обвинения его самого в фальсификации ряда украинских дум в "Запорожской старине" (1833–1838), с которыми еще в 1874 г. выступили В.Г. Антонович, М.П. Драгоманов и Н.И. Костомаров [52. С. VII–VIII; 53. С. 611–628].

Как можно определить научное значение того, что сделал Срезневский в 1870-е годы в исследовании "древнечешских" рукописей? Ответ на этот вопрос представляется нам неоднозначным. Несомненно, что отстаивание подлинности рукописей тормозило развитие науки, наносило ей вред, ибо многие научные заключения по

³ Подделки уличила только криминалистическая экспертиза с использованием современных технических средств, проведенная в 1967–1970 гг. Подробнее см.: [50; 51].

истории древнечешского языка, литературы, по древней истории и истории права долгое время базировались на ложных основаниях. Наконец, постоянная полемика вокруг рукописей отвлекала научные силы от других, более важных проблем. Таким образом, разоблачение подделок имело огромное научное значение.

Однако отрицание начисто всего того, что было сделано защитниками рукописей, было бы неверным, односторонним и антидиалектичным. И отрицательный результат в науке – тоже результат. Поэтому каждое самостоятельное исследование является определенной вехой на пути решения проблемы. В данном случае И.И. Срезневский принадлежал к числу тех защитников рукописей, которые субъективно, в силу указанных причин не смогли сделать последнего шага к признанию их подложности, но их аргументы против древности рукописей объективно вошли впоследствии в арсенал разоблачения фальсификатов.

Связи И.И. Срезневского с чешскими учеными продолжались до самой его смерти в 1880 г. Отличительной особенностью периода 1870-х годов являлось то, что ученый не ограничился ролью популяризатора достижений чешской науки в стенах Петербургского университета и Академии наук, а сам интенсивно занимался исследованиями в области богемистики: изучал "Киевские глаголические листки" и "древнечешские" рукописи, внося определенный вклад в разработку связанных с ними проблем. В 1870-е годы многолетняя неутомимая деятельность Срезневского в деле развития русско-чешских связей была по достоинству оценена в Чехии. Его избрали почетным членом Академического чешского читательского общества (1874) [6. Оп. 1. Д. 208], а главное – Королевского чешского ученого общества (1878) [6. Оп. 1. Д. 1560] – прообраза Чешской академии наук.

Чешские ученые откликнулись на торжественно отмеченный в апреле 1879 г. 50-летний юбилей научной деятельности И.И. Срезневского. Поздравительные письма и телеграммы он получил от имени "Матицы чешской" [6. Оп. 1. Д. 1570], Академического чешского читательского общества в Праге [6. Оп. 1. Д. 1601], от А.В. Шемберы [6. Оп. 1. Д. 1546. Л. 15], от чешских эмигрантов в России Э. Вавры, В. Петра, Ф. Иезберы, Ф. Поганки и др. [6. Оп. 1. Д. 1618]. По случаю юбилея Срезневский был избран в 1879 г. почетным членом Общества чешских филологов и Славянского литературного общества [6. Оп. 1. Д. 1595]. О юбилее русского ученого сообщалось в газете "Národní poviny" (№ 46. 22 IV 1879). Здесь же был помещен и некролог И.И. Срезневского (№ 38. 1 IV 1880). Соболезнования его семье от имени Королевского чешского ученого общества выразили Й. Эмлер [6. Оп. 1. Д. 1903] и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Францев В.А. Очерки по истории чешского Возрождения. Русско-чешские связи конца XVIII и первой половины XIX столетия. Варшава, 1902.
2. Dějiny česko-ruských vztahů. 1770–1917. Praha, 1967.
3. Досталь М.Ю. Библиографические заметки И.И. Срезневского о книгах чешских и словацких ученых в "Известиях ОРЯС" Академии наук // Советское славяноведение. 1975. № 2.
4. Досталь М.Ю. Чешские связи И.И. Срезневского в 60-е годы XIX в. // Культура и общество в эпоху становления наций. Центральная и Юго-Восточная Европа в конце XVIII – 70-х годах XIX в. М., 1974.
5. Ровда К.И. Россия и Чехия. Взаимосвязи литератур. 1870–1890. Л., 1978.
6. РГАЛИ. Ф. 436.
7. Laptěvová L.P. Korespondence I.I. Srezněvského a A. Patery // Československo-sovětské vztahy. Praha, 1982. Sv. II.
8. Досталь М.Ю. И.И. Срезневский и его роль в развитии русско-чешских научных и культурных связей в 40–70-е годы XIX в. Автореф. канд. дис. М., 1977.
9. Липтева Л.П. Научные связи И.И. Срезневского с чешскими филологами в 60–70-х годах XIX в. (по неопубликованным данным) // Славянские языки, письменность и культура. Сборник научных трудов. Киев, 1993.

10. *Досталь М.Ю.* Проблемы чешской и словацкой филологии и истории в лекционных курсах И.И. Срезневского. (По материалам Архива АН СССР и Рукописного отдела Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина) // Общественно-политическое движение в Центральной Европе в XIX – начале XX в. М., 1974.
11. Протоколы заседаний Совета Имп. С.-Петербургского университета. № 3. 1-я половина 1870/71 acad. года. СПб., 1871.
12. Протоколы заседаний Совета Имп. С.-Петербургского университета. № 7. 1-я половина 1872/73 acad. года. СПб., 1873.
13. Протоколы заседаний Совета Имп. С.-Петербургского университета. № 17. 1-я половина 1877/78 acad. года. СПб., 1878.
14. Сборник ОРЯС. СПб.
15. Филологические записки. Воронеж, 1873. Вып. 1.
16. ПФ АРАН. Ф. 216.
17. *Німчук В.В.* Київські глаголичні листки: Найдавніша памятка слов. писемності. Київ, 1983.
18. *Срезневский И.И.* О древней глаголической рукописи, хранящейся в Киевской духовной академии, с приложением полного списка с нее и с несколькими замечаниями. Из заявлений на Киевском археологическом съезде. Киев, 1876.
19. *Багмут А.И.* Чешский и словацкий языки в истории русского и украинского языкознания. Автореферат канд. дис. Киев, 1959.
20. *Срезневский И.И.* Список с подлинника древнего глаголического миссала Киевской духовной академии кирилловскими буквами // Труды третьего археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г. Киев, 1878. Т. II. Приложения.
21. *Багмут А.И.* Дослідження російськими і українськими мовознавцями фонетичних і лексичних особливостей Київських листків і Празьких уривків у зв'язку з питаннями про походження цих пам'яток // Слов'янське мовознавство. Київ, 1958. Т. 2.
22. *Штибер З.* О языке Киевского миссала // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник статей в честь шестидесятилетия проф. С.Б. Бернштейна. М., 1971.
23. *Лантева Л.П.* Краледворская и Зеленогорская рукописи в освещении русской литературы XIX и начала XX веков // Sborník Národního Musea v Praze. Praha, 1974. Řada C. Literární historie. Sv. XVIII. Č. 1–2.
24. *Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání.* Praha, 1969. D. I.
25. Краледворская и Зеленогорская рукописи и их оценка в России XIX и начала XX в. // Studia Slavica Hungarica. Budapest, 1975. XXI.
26. *Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae.* Praha, 1855. I.
27. *Pertz G.* Reise nach Böhmen, Österreich, Salzburg und Mähren im September 1843 // Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Hannover, 1847. Bd. IX. S. 465.
28. *Стороженко А.В.* Очерки из истории чешской литературы. Киев, 1880. Вып. I. Рукописи Зеленогорская и Краледворская. Очерк литературной истории рукописей.
29. *Safařík P.J.* Vyměsky o dědičném právu v Čechách co příspěvek k vysvětlení slomku Zelenohorského // Časopis Musea kralovství Českého (ČMKČ). Praha, 1864. Roč. 38. Sv. 1.
30. *Срезневский И.И.* Сеймы (Sněmy) // Очерки России, издаваемые В. Пассеком. М., 1838. Кн. 1.
31. *Срезневский И.И.* Извлечения из Краледворской рукописи, касательно религиозных верований и обрядов // ЖМНП. 1840. Ч. 28. № 12.
32. *Срезневский И.И.* Рецензия на кн. А. Соколова "Краледворская рукопись и суд Любуши. Казань, 1846" // ЖМНП. 1847. Ч. 55.
33. *Срезневский И.И.* Рецензия на кн.: «Глоссы "Mater verborum", памятника чешской литературы XIII столетия, с объяснениями К. Скворцова. СПб., 1853» // Известия ОРЯС. 1853. Т. 2.
34. *Срезневский И.И.* "Mater verborum" Чешского музея // Известия Имп. Русского Археологического общества. СПб., 1859. Т. 1.
35. *Срезневский И.И.* Воспоминание о В. Ганке // Известия ОРЯС. 1861. Т. 9.
36. *Срезневский И.И.* Несколько замечаний об эпическом размере славянских народных песен // Известия ОРЯС. 1861. Т. IX.

37. *Срезневский И.И.* Рецензии на кн.: "J. Fejfalik-Über die Königinhofer Handschrift. Wien, 1860; и J. und H. Jireček. Die Echtheit der Königinhofer Handschrift. Prag, 1862" // Известия ОРЯС. 1861–1863. Т. 10. Л. 251.
38. *Срезневский И.И.* Отзыв об издании Н. Некрасова: "Краледворская рукопись в двух транскрипциях текста с предисловием, словарями, частью грамматическою, примечаниями и приложением". СПб., 1872 // Сборник ОРЯС. 1873. Т. 10.
39. *Срезневский И.И.* Дополнительные замечания на статью А.О. Патеры «Чешские глоссы в "Mater verborum"» // Записки Имп. Академии наук. 1878. Т. 31. Кн. 2.
40. *Срезневский И.И.* Былина о суде Любуши // Русский филологический вестник. 1879. № 1.
41. *Macůrek J.* Z dějin česko-ukrajinských vztahů v minulosti // Z dějin československo-ukrajinských vztahův. Slovanské štúdie. I. Bratislava, 1957. [Письмо И.И. Срезневского А.В. Шембере от 16 февраля 1879 г.]
42. *Vaum A., Patera A.* České glosy a miniatury v Mater verborum // ČMKČ. Praha, 1877. Roč. 51. Sv. 1. S. 120–149; Sv. 2. S. 372–390; Sv. 3.
43. *Срезневский И.И.* Отзыв о сочинении А. Котляревского "О погребальных обычаях языческих славян" // Отчет о 12-м присуждении наград графа Уварова 25 сентября 1869 г. СПб., 1870. С. 237–239.
44. Документы к истории славяноведения в России (1850–1912). М.; Л., 1948. С. 90.
45. *Макушев В.В.* Из чтений о старочешской письменности. Воронеж, 1879. Вып. 1. С. 73.
46. ОР РГБ. Ф. Викторова А.Е. Карт. 21. Д. 58.
47. *Vašek A.* Filologický důkaz, že rukopis kralodvorský a zelenohorský, též zlomek Evangelia sv. Jana jsou podvržená díla Václava Hanky. Brno, 1879.
48. *Šembera A.V.* Libušin soud domněla nejstarší památka řeči české jest podvržen. Též zlomek evangelium sv. Jana. Videň, 1879.
49. *Jireček J.* О nejnovějších námitkách proti pravosti našich starých památek. (RZ a Evangelia svatojanského). // ČMKČ. Praha, 1878. Roč. 52. Sv. 1.
50. *Ivanov M.* Tajemství RKZ. Praha, 1969.
51. *Ivanov M.* Zahada rukopisu královédvorského. Praha, 1970.
52. Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М. Драгоманова. Киев, 1874. Т. I. С. XVIII–XXXII, 159–163; 1875. Т. II.
53. *Костомаров Н.И.* Историческая поэзия и новые ее материалы // Вестник Европы. СПб., 1874. № 12.



© 2002 г. Р.П. ГРИШИНА

СОВЕТСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ И НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПЕРЕВОРОТ

БОЛГАРИЯ, сентябрь 1922 года

В начале 1920-х годов главным и основным фактором сближения интересов большевистской России и "земледельческой"¹ Болгарии было неприятие обеими Версальской системы мирных договоров. Отсюда стремление разрушить ее – с советской стороны, и хотя бы ослабить ее узы – с болгарской. Решительный шаг к взаимопониманию руководящих структур того и другого государств был сделан весной 1922 г. в результате публичных официальных заявлений Г.В. Чичерина на Генуэзской конференции о поддержке национально-освободительной борьбы балканских народов и состоявшихся тогда же личных контактов Г.В. Чичерина и Кр. Раковского с премьер-министром Болгарии А. Стамболийским.

Одним из центральных вопросов, обсуждавшихся ими, являлся вопрос о врангелевских частях, размещенных в основном в 1921 г. в Болгарии по едва ли не ультимативному настоянию западных стран-победительниц. В то время Стамболийский надеялся, что его отзывчивость к рекомендациям стран Антанты поможет Болгарии получить послабление в выполнении военных условий Нейиского договора. Однако от такого рода иллюзий он освободился очень скоро. К тому же по мере размещения в Болгарии российских частей развитие внутривойсковых событий в стране теряло ореол романтичности, порождая массу дополнительных проблем.

Прежде всего, разоруженные французами в Галлиполи врангелевские формирования, едва переступив границу Болгарии, стали быстро собираться в прежние войсковые вооруженные подразделения, со всем их аппаратом, включая военные суды и т.п.: идефикс Врангеля было сохранить свою армию в боевом строю, что никак не соответствовало предварительно согласованным с Антантой условиям. Врангель, заявляя: "Армия будет существовать в полускрытом виде, но армия должна быть сохра-

Гришина Ритта Петровна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ От правившей тогда "земледельческой" партии – Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС).

нена во что бы то ни стало" (цит. по: [1. С. 91]), старался осуществить свою цель в максимально возможной степени. Болгарским военным властям приходилось периодически направлять начальникам гарнизонов в Варне и Бургасе приказы о разоружении прибывших русских войск и напоминать о необходимости соблюдать законы страны [2. Док. 136, 137].

К весне 1922 г. в Болгарии оказалось уже около 36 тыс. врангелевцев, в то время как по Нейскому договору вся болгарская армия, включая полицию, не могла превышать 6,5 тыс. человек. Даже в случае стабильной обстановки в стране такое положение таило в себе массу неожиданностей [3. С. 445]. Что же говорить о неспокойной Болгарии!

Размещение иностранных воинских формирований вызывало законное недоумение болгарских политиков. При обсуждении этого вопроса в Народном собрании раздавались голоса в пользу приема именно гражданских беженцев, но против разрешения разбитым частям чужой армии организовываться на болгарской территории. Один из лидеров Демократической партии Н. Мушанов прямо заявлял: "В Болгарию приехали не беженцы, а армия Врангеля, организованная и вооруженная. Правительство [Стамболийского] своей политикой нарушает суверенитет государства, создает угрозу ее независимости" (Цит. по: [4. С. 118]). Другая часть болгарских политиков не только приветствовала приход русской армии, но и стремилась завязать личные контакты с врангелевскими офицерами, мечтавшая использовать их в своей борьбе против "земледельцев" за власть. Врангель в личной переписке вынужден был признать, что в Болгарии "русские национальные силы" оказались яблоком внутривнутриполитического раздора [1. Док. 2]. Иными словами, благодаря вводу русских воинских формирований послевоенное политическое размежевание болгарского общества получало дополнительный неблагоприятный импульс.

Следует отметить и другие нюансы психологического восприятия русской армии в Болгарии. Врангелевцы, имевшие свой суд, полицию, нередко вели себя как в оккупированной стране, проявляли неуважение к местным властям [5. С. 232], демонстрируя, мягко говоря, пренебрежительное отношение к приютившей их стране и к, как писал Врангель в цитированном письме, "низкого культурного уровня селькам"; отсюда – уличные скандалы, стычки с местными населением. С таким тезисом солидарны авторы обстоятельного издания: «В Болгарии, – пишут они, – руководство Русской армией допустило серьезную ошибку, повлекшую за собой репрессии со стороны властей: оно открыто не считалось с самостоятельностью Болгарии, называя ее "придунайской губернией", и заявляло, что намерено готовить новый поход против Советской России с территории Болгарии» [1. С. 123].

И не случайно уже в марте 1922 г. правительство Стамболийского начало искать способ избавиться от вооруженных русских войск. Задача выдвигалась двоякая: с одной стороны, попытаться превратить часть русского воинства в гражданских беженцев и дать им работу в шахтах, т.е. *включить в болгарский социум*, для чего, в частности, 11 мая 1922 г. Совет министров Болгарии принял специальное решение "О переводе армии П.Н. Врангеля на трудовые начала" [2. Док. 144]. С другой стороны, *оказате содействие тем, кто хочет, вернуться на родину*.

Быстро осуществить такую задачу было невозможно, несмотря на некоторый первоначальный успех – высылку врангелевского командования в мае 1922 г. из Болгарии, проведенную во время заседаний Генуэзской конференции. Следует отметить, что сама эта акция была связана с деятельностью советской делегации на Генуэзской конференции, указывавшей на этом форуме на опасный прецедент размещения в Болгарии чужих вооруженных армейских частей, а также с встречами-беседами там "подомашнему" Стамболийского с Чичериным и Раковским. Не вдаваясь в уже известные подробности, подчеркну важнейший результат состоявшихся контактов: советским делегатам удалось получить от Стамболийского согласие на приезд в Болгарию миссии общества Красного Креста: из-за отсутствия дипотношений между Болгарией и Советской Россией официально осуществить возвращение врангелевцев на родину

можно было только через миссию РОКК и ее связь с комитетом Лиги Наций во главе с Ф. Нансеном, который брал на себя преобладающую часть финансовых расходов по репатриации, обстоятельство – немаловажное для Советской России.

Однако в советском исполнении миссия РОКК оказалась представленной в основном сотрудниками ГПУ. Общее руководство операцией находилось в руках зам. председателя ГПУ И.С. Уншлихта, по поводу очередности ее этапов сносившегося непосредственно с И.В. Сталиным. Пунктом приема возвращенцев назначался порт Новороссийск, вблизи которого размещались и фильтрационные лагеря.

В Советской России кадров для агентурной работы за границей имелось, очевидно, достаточно: еще 12 мая 1922 г. на совещании представителей ГПУ, Разведупра Штаба РККА и некоторых других армейских структур было принято постановление о так называемой активной разведке, а фактически об использовании за границей военных, освободившихся в связи с окончанием Гражданской войны в России. В общем разделе постановления говорилось: принять все меры, чтобы аппарат активной разведки не разлагался (что означало занять его определенной военно-агентурной работой). Одной из задач активной разведки называлось "выявление настроений местного (т.е. закордонного. – Р.Г.) населения и в случае стихийных движений взятие на себя руководства ими по соглашению с местными парторганами". В постановлении был и специальный пункт о необходимости работы в бывших врангелевских частях по их разложению и уничтожению в качестве организованной силы [6. Док. 2]. Сама формулировка последнего пункта, как несложно заметить, полностью совпадала с задачами, стоявшими перед правительством Стамбульского.

Первые успехи в этом деле были достигнуты благодаря распропагандированию и разложению казачьих частей. 16 сентября 1922 г. Уншлихт докладывал Сталину: "Дело репатриации казачьих войск с Балкан спешно продвинулось вперед; закордонная предварительная подготовка казаков как в Сербии, так и в Болгарии к настоящему моменту может считаться вполне законченной. Казачья масса в огромном большинстве своем с нетерпением ждет момента отправки" [7. Ф. 3. Оп. 64. Д. 224. Л. 5]. Сообщая о выполнении первой части поставленной перед ним задачи, Уншлихт испрашивал разрешения на начало второй части: "ГПУ, – писал он, – просит указать, насколько в данное время политически приемлемо начать дело разложения Доброй армии Врангеля" [7. Ф. 3. Оп. 64. Д. 224. Л. 5]. Разрешение, по всей видимости, было получено, и 2 октября 1922 г. Президиум ВЦИК утвердил внесенное от имени ГПУ положение "О порядке репатриации и реэвакуации казачества и частей бывших белогвардейских армий, находящихся за рубежом". В нем говорилось, что все руководство означенной работой сосредоточивается в ГПУ, а сама работа производится через специально уполномоченных на то лиц, назначаемых ГПУ по соглашению с НКВД, а также о создании Центральной приемочной комиссии [6. Док. 10].

На месте разложением казачьих и врангелевских частей в Болгарии занимались и многочисленные советские агенты, и Болгарская компартия.

Одним из руководителей операции стал опытный разведчик С.Г. Фирин, до этого работавший в Берлине по налаживанию разведработы в Западной Европе. Другим был также весьма квалифицированный работник невидимого фронта Б.Н. Иванов-Краснославский.

Часть времени в Болгарии Фирин сумел работать легально, был среди основателей и редакторов газеты "Новая Россия", Иванов-Краснославский, наоборот, был хорошо законспирирован, так что даже в 1930-е годы германская разведка, знавшая о некоем "Борисе Николаевиче", не могла установить, о ком же точно идет речь.

Болгарская коммунистическая партия заблаговременно начала пропагандистскую работу среди оказавшихся на чужбине чинов русской армии; используя ностальгические чувства многих из них, она добилась в этом отношении определенных успехов. 6 мая 1922 г. было оформлено существование легального Союза возвращения на родину (Совнарод). Союз централизовал работу созданных болгарскими коммунистами ячеек среди врангелевцев и провозгласил одной из своих целей

не только репатриировать беженцев, но и сделать из них лояльных граждан Советской России.

"Земледельческие" власти не мешали быстрому расширению деятельности Совнарода по всей стране, изданию ряда его печатных материалов и превращению в фактически советский орган на болгарской территории, а также деятельности в его отделениях явных и тайных советских агентов. Среди казаков работал Общеказацкий земледельческий союз (ОКЗС).

Между тем летом 1922 г. внутренняя обстановка в Болгарии резко обострилась. Политическая оппозиция правительству Стамболийского сплотилась в "Конституционный блок", который открыто заявил о претензии на власть и готовности взять ее. Распаленные военные, уволенные из болгарской армии по условиям Нейского мирного договора, считавшие себя самими большими патриотами в стране, к тому же более всех обиженных неблагоприятным дипломатическим исходом одержанных Болгарией военных побед, а также самые реакционные политические круги готовы были прийти на помощь "Конституционному блоку". Опасность над правительством Стамболийского нависала серьезная. Против него объединялись разнородные силы, недовольные внутренней и особенно внешней политикой "земледельцев", проводимыми реформами, открытым игнорированием Тырновской конституции.

Для премьер-министра одним из главных становился вопрос, как поведет себя в ситуации внутреннего противоборства в Болгарии многочисленная вооруженная российская эмиграция. Что касается советских спецагентов, то в случае падения правительства Стамболийского они лишались благоприятных условий для своей деятельности. Между тем им предстояло, помимо прочего, еще и подготовить почву для приезда официального органа – советской миссии РОКК, ожидавшегося осенью 1922 г.

В сложившихся обстоятельствах чекистам следовало определиться: на кого внутри Болгарии сделать основную ставку и опереться в предстоящей, возможно открытой, борьбе – на болгарских коммунистов, братьев по идеологии, или на "земледельцев", таковыми не являвшимися, но располагавших государственным ресурсом.

На эту особенность положения обратил внимание современный болгарский исследователь Л. Спасов. Перед дилеммой выбора между коммунистами и "земледельцами", пишет он, руководитель советских эмиссаров решил действовать совместно с правительством Стамболийского, а не рассчитывать на массовые акции болгарских коммунистов [4. С. 153].

Действительно, в возникшей ситуации "земледельцы" были предпочтительнее коммунистов. Дело в том, что посланный из Москвы в Софию не только для того, чтобы представлять в июне 1922 г. ЦК РКП(б) на IV съезде БКП, но и для того, чтобы прозондировать почву о возможности переворота в Болгарии, большевик В.П. Милютин установил следующее: "Претендентами на власть – писал он в своем отчете, – являются: 1) городская буржуазия и 2) коммунисты. Первые ведут активную политику за захват власти, вторые нет. Городская буржуазия, – сообщал он, – явно реакционна. Она бьет на союз и поддержку Антанты и, во-вторых, как вооруженную силу хочет использовать врангелевцев". Далее Милютин обращал внимание ЦК РКП(б) на то, что, по его мнению, "несомненно, ЦК [БКП] сейчас удерживает массы от активных выступлений и не выдвигает лозунгов, которые толкнули бы массы на выступление" [6. Док. 5]. Столь очевидная пассивность болгарских коммунистов естественным образом выводила их из числа первостепенных партнеров чекистов.

В августе 1922 г. руководство "Конституционного блока" объявило о переходе к "боевой" тактике: организации массовых, фактически вооруженных, митингов с захватом городов, где они должны проводиться – 17 сентября в В. Тырново, 1 октября в Пловдиве и, наконец, 15 октября в Софии, в результате чего власть "земледельцев", по мнению руководителей "Конституционного блока", должна была пасть. Готовящуюся акцию поддерживала одна из реакционных в стране организаций – "Народный сговор". Большие надежды возлагались на положительную реакцию на выступление "конституционалистов" со стороны главы государства – царя Бориса III.

Организаторы развернули широкую устную и печатную кампанию против "земледельческого" режима.

Правительству БЗНС пришлось спешно принимать меры. Как пишет Л. Спасов, было заключено соглашение между его представителями и "советскими делегатами". Какое точно – он не указывает, но, судя по последующим событиям, было решено для возбуждения населения и инициации массового отпора действиям "Конституционного блока" пустить в ход провокацию. Оставалось привести план в действие.

5 сентября при аресте болгарскими властями ген. Ронжина было якобы обнаружено тайное письмо ген. Врангеля к ген. Миллеру от 17 августа 1922 г. с приказом после *государственного переворота* (курсив мой. – Р.Г.) и захвата армией крупных центров Болгарии вступить в переговоры с болгарскими буржуазными и военными партиями об образовании нового правительства, которое должно будет признать русскую армию, как таковую, включить в свой состав в качестве военного министра русского генерала, назначенного Врангелем, и принять условие, что Болгария станет исходным пунктом войны против Советской России. В других якобы найденных документах говорилось, что переворот должен быть совершен до 1 ноября 1922 г. [4. С. 154]. Одновременно распространялись слухи о том, будто русские части, расположенные в Югославии, переброшены к югославо-болгарской границе и готовы ее перейти.

14 сентября в газете "Земеделско знаме" появились сфабрикованные с участием советских спецагентов документы, а также Манифест Постоянного Присутствия БЗНС (руководящий орган этой партии), обращенный к болгарскому народу по поводу предстоящих действий Конституционного блока и призывом к членам партии массово оказать сопротивление.

Кроме того, чтобы обезопасить себя от вмешательства со стороны врангелевцев, власти 10 августа распорядились о снятии знаков воинских отличий с русских солдат и офицеров, произвели ряд арестов, а 16 сентября объявили приказ о высылке из страны в течение 48 часов арестованных офицеров [4. С. 157]. Врангель, квартировавший в Югославии, с огорчением констатировал, что части, расположенные в Болгарии, "были лишены почти всех любимых начальников, высланных из пределов [Болгарского] царства" [3. Док. 29]. Обезглавленные русские войсковые образования лишались в значительной степени своей силы.

В ответ на объявленный поход "конституционалистов" на Тырново власти назначили на тот же день 17 сентября в том же Тырново "съезд свеклопроизводителей". Столкновение становилось неминуемым. И ... массовым. Властям действительно удалось поднять своих сторонников – задуманная ими совместно с "советскими делегатами" провокация удалась.

Согласно плану руководителей "Конституционного блока" 16 сентября вооруженная группа должна была захватить железнодорожный вокзал в г. Горна Оряховица, назначить своего коменданта и направить оттуда на Тырново 2,5 тыс. вооруженных сторонников, съехавшихся со всей страны, чтобы на утро атаковать и взять его [4. С. 153]. Но стычки между противоборствующими сторонами начались еще на станциях по пути к городу, где в 1879 г. была провозглашена Конституция Болгарии. "Земледельцы" вели себя агрессивно, не стеснялись избивать противников и глумиться над ними, не обращая внимания на то, что среди них были депутаты Народного собрания, бывшие министры и другие почтенные лица. В ночь с 16 на 17 сентября 1922 г. колонны "земледельцев" беспрепятственно вошли в Тырново, где состоялся 30-тысячный митинг победителей. Энтузиазм их был таков, что, по словам министра внутренних дел Р. Даскалова, даже во время Солдатского восстания 1918 г. "народная душа не была так взволнована" (цит. по: [5. С. 295]). Царь Борис, давший в эти дни, согласно некоторым данным, приказ своему адъютанту, прозондировать части софийского гарнизона на возможность их участия в устранении правительства Стамболийского путем военного переворота, вынужден был отступить перед стихией масс и отказаться от своего замысла (см.: [8. II съд. Д. 1556. Т. IV. Л. 39]). Тырновские события

17 сентября 1922 г. положили конец "Конституционному блоку" и его планам. Его лидеры были арестованы или бежали из страны. Таким образом, в сентябре 1922 г. правительство Стамболийского было сохранено, а попытка его свержения сорвана.

Остался открытым и путь для прибытия в Болгарию миссии советского Красного Креста, что и произошло в октябре 1922 г. Следует отметить, что миссия чувствовала себя в чужой стране весьма вольготно: ее глава даже не удосужился официально зарегистрировать ее [9. С. 50], хотя НКВД рассматривал эту миссию как "первое представительство РСФСР в Болгарии". При этом, как отмечалось в официальной переписке советских ведомств, деятельность миссии "лишь в незначительной части связана с РОКК, но протекает главным образом по заданиям других ведомств" [6. Док. 18]. К сотрудничеству чекисты сумели привлечь врангелевских генералов: Гравицкого, Секретова, Семенцова и других [10. С. 39]. Вскоре произошло объединение аппаратов миссий советского Красного Креста и руководства просоветских эмигрантских организаций [10. С. 40]. Несколько крупных партий репатриантов было подготовлено к транспортировке. За выполнение поставленного задания С.Г. Фирин был награжден орденом Красного знамени.

БКП оказалась не только в стороне от развернувшихся осенью 1922 г. событий, но в известной степени и обиженной.

В. Коларов от имени ЦК БКП направил в Политбюро ЦК РКП(б) примечательное письмо, в котором писал: "Было нам обещано послать в Болгарию специального делегата, чтобы урегулировать этот вопрос [Речь идет о репатриации русских солдат. – Р.Г.]. Вместо такого делегата прислан был другой, на которого были возложены совершенно иные задачи. [...] Агенты находящегося в Болгарии российского делегата завязали самые близкие связи с некоторыми из агентов болгарского правительства, очевидно, с целью использовать их для своих задач – борьбы с белыми генералами, но вместо этого, как мы достоверно узнали, агенты болгарского правительства использовали их самих. Посредством их болгарские агенты устроили провокацию против оппозиционных буржуазных партий в Болгарии, сфабриковав русские документы, уличающие якобы буржуазные партии. При этом работа эта была так плохо и неосторожно проделана, что фальсификация теперь ясна для всех и каждому [...] Находящиеся в Болгарии российские агенты лично уже скомпрометированы и нетерпимы. Их немедленное отозвание обязательно. Независимо от этого ЦК БКП ни в коем случае не может быть согласным, чтобы посылались в Болгарию агенты, которые прямо или косвенно вмешивались бы во внутренние партийные и политические отношения в стране, помимо ЦК БКП" [6. Док. 8]. Это письмо, как говорится, расставило все точки над *i* в болгарских событиях, и наделало немало шума в Москве. Позиция Коларова была поддержана Высшим партийным советом БКП, органом, созывавшимся, как правило, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, который на заседании 3–5 октября принял решение с осуждением негуманного характера расправы с конституционалистами, отметив варварское посягательство толпы на депутатскую неприкосновенность. Жалобы БКП, возможно, сыграли решающую роль в дальнейшей судьбе Коларова. Вскоре он вместе с семьей переехал в Москву для работы в Коминтерне, где оказался с головой погружен в работу, став одновременно членом ИККИ, его Президиума, Секретариата, Оргбюро, Бюджетной комиссии и пр.

Несколько слов о самом письме, хранящемся в РГАСПИ. Оно не имеет даты и обращения к нему, без учета описанных Тырновских событий, приводит исследователя к ошибкам при попытке произвольного датирования, когда проставляется без достаточных оснований, например, 1921 г. (см. [9. С. 61–62]). Копия письма Коларова, обнаруженная в Архиве Президента РФ, позволяет удостовериться в правильности его включения именно в посттырновскую канву болгарских событий: этим *архивом* письмо датировано 27 сентября 1922 г. – вероятно, по времени получения в Политбюро ЦК РКП(б).

Что касается советских чекистов, то как следует из письма Н.Н. Крестинского от 27 января 1923 г., к концу 1922 г. для ГПУ работа по "разложению врангелевцев"

и "организации их возвращения в Россию", в которой участвовали "лучшие его люди", закончена, "работа вошла в определенную колею", и "лучшие люди" оттуда уже отозваны и посланы в другие места [6. С. 41].

К тому времени определенные изменения к худшему произошли на уровне межправительственных советско-болгарских связей. При внешне благоприятной атмосфере встреч Чичерина со Стамболийским на Лозаннской конференции в декабре 1922 г., во время голосования вопроса о Проливах оказалось, что болгарская делегация поддержала не советский проект, хотя и выгодный ей, как пишут болгарские авторы (см. например, [5. С. 325]), а английский. Беспokoил советских дипломатов также решительный поворот Стамболийского к улучшению отношений с Югославией, что могло привести к укреплению позиций единой Югославии (этого "порождения Версальской системы", согласно тогдашней большевистской фразеологии), в то время как сформулированная на той же Лозаннской конференции в "Меморандуме Российско-украинско-грузинской делегации" линия Советской России была противоположна и заключала в себе, по словам Чичерина, два тезиса: федерализацию Югославии (т.е. раздробление ее по этническому признаку) и создание советской (или просоветской. – Р.Г.) Балкано-Дунайской федерации [11. Ф. 0144. Оп. 7. П. 102. Д. 13. Л. 90].

Предотвратить государственный переворот 9 июня 1923 г. правительство Стамболийского своими силами, как известно, не смогло. Незадолго до этого внутри советской миссии РОКК произошли, насколько можно судить по некоторым документам, внутренние недоразумения, интрига развивалась вокруг главы миссии И.С. Корешкова (см. [6. Док. 31]). С приходом к власти правительства Цанкова условия для деятельности миссии существенно ухудшились. В июле она просто была разгромлена, ее работа прекратилась. Хотя к осени 1923 г. из Болгарии было вывезено около 10 тыс. русских эмигрантов и врангелевская армия фактически утратила боеспособность [9. С. 54], в стране еще оставались их значительные контингенты. Так, в ходе "Исторических чтений на Лубянке" приводились следующие данные советской разведки относительно численности в 1927 г. военно-организованных белогвардейцев: Франция, Бельгия – 20 тыс., Югославия – 6 тыс., Болгария – 14 тыс., Польша – 2 тыс., Румыния – 1 тыс., Китай – 8 тыс. [12. С. 118].

Так что, несмотря на ордена и другие знаки отличия, полученные советскими спецagентами за первый этап выполнения задания, проблема эвакуации из Болгарии в 1922–23 гг. той части российских эмигрантов, которые соглашались на переезд в Россию, в целом решена не была и надолго превратилась в "висящую" между двумя странами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Россия в изгнании. Судьбы российских эмигрантов за рубежом. М., 1999.
2. Бялата емиграция в България. Каталог (выставки). София, 1996.
3. Русская военная эмиграция 20–40-х годов. Документы и материалы. М., 2001. Т. 2. Несбывшиеся надежды... 1923 г.
4. Л. Спасов. Врангеловата армия в България. 1919–1923. София, 1999.
5. Д. Петрова. Самостоятелното управление на БЗНС. 1920–1923 г. София, 1988.
6. Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции в документах центральных российских архивов начала – середины 1920-х гг. М., 2000. Ч. 1.
7. Архив Президента РФ.
8. Архив на министерството на вътрешни работи.
9. Н. Васильева, С. Лавренов. Особенности советско-болгарских политико-военных отношений в 20-е годы // Българо-съветски политически и военни отношения. 1917–1941. Статии и документи. София, 1998.
10. А.И. Колпакиди, Д.П. Прохоров. КГБ: спецоперации советской разведки. М., 2000.
11. Архив внешней политики РФ.
12. Б.Г. Труков. В начале противостояния: российская политическая эмиграция и советские спецслужбы после окончания гражданской войны // Исторические чтения на Лубянке. 1998. Российские спецслужбы на переломе эпох: конец XIX в. – 1922 г. Москва, В. Новгород, 1999.



© 2002 г. В.И. КОСИК

ОПЫТ ИСТОРИИ СТРАНЫ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО (СЕРБИЯ в 1918–1941 гг.)

В 1918 г. было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС). Но Сербия – это национальное государство с многовековой историей – исчезла с политической карты мира. Сербские знамена, под которыми народ неоднократно шел в бой, сражаясь за свои независимость и свободу, обрели покой в музеях. Итак, Сербия как государство ушла в историю, но сама идея воссоздания великой Сербии под новым названием Королевство СХС продолжала не только жить в умах, планах, проектах сербских политиков, но и начала претворяться в жизнь. Уже сама внутренняя ситуация в Королевстве по многим параметрам свидетельствовала о сложности поставленной задачи. В многонациональном государстве проживали 4 704 876 (39%) сербов, 2 889 102 (23,9%) хорвата, 1 023 588 (8,5%) словенцев, 759 656 (6,3%) мусульман, 630 000 (3,3%) македонцев, 198 857 (1,6%) представителей других славянских народов, 512 207 (4,3%) немцев, 483 871 (4%) албанец, 472 079 (3,9%) венгров, 183 563 (1,6%) румына, 142 453 (1,2%) турка, 11 630 (0,1%) итальянцев, 42 756 (0,3%) представителей иных национальностей [1. С. 32]. Общая численность населения на 1921 г. составляла чуть больше 12 млн. человек. Различия в культуре и исторической жизни народов лишь подчеркивали сложность государственного бытия нового Королевства, созданного на послевоенном пепелище. Последнее утверждение в основном относится именно к Сербии, которая за годы Первой мировой войны потеряла около 400 тыс. солдат; сотни тысяч умерли от голода и болезней. Более 50% промышленного оборудования было выведено из строя. Практически четверть населения Сербии (свыше 1 млн человек) погибла в войнах 1912–1918 гг. [1. С. 56].

Появление Королевства СХС означало объединение в одном государстве почти всех сербов (исключения составляли лишь небольшие их колонии в Венгрии и Румынии). С одной стороны, фактически была решена задача, поставленная видным деятелем сербской государственности в XIX в. И. Гарашаниным и его предшественниками. С другой стороны, сербство растворялось в "море" других национальностей и народов, вошедших в новое государственно-политическое объединение.

Если же говорить о сербской идее в ее югославском обличье, о ее проводниках-сербях, стоявших у руля Королевства, надо прежде всего подчеркнуть, что само

Косик Виктор Иванович – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

объединение югославских земель вокруг Сербии надо рассматривать как сложный и противоречивый процесс. Путь был определен, но он проходил, образно говоря, в таком дремучем лесу, что благополучный исход был под вопросом. Принцип самоопределения наций, благополучно перебравшийся из XIX в. в XX ст., имел определенные шансы стать для нового Королевства тем детонатором, с помощью которого можно было взорвать в нем порядок и расчленив страну, скроенную на скорую руку Западом. В сущности Версаль решал прошлые проблемы, но не хотел просчитывать будущее. Если не ошибаюсь, у Бертольда Брехта есть такие слова: "Плодоносить еще должно чрево, которое вынашивало гада". И разве не Версаль "родил" Гитлера, был одной из его "мамок"? Относительно сербства можно утверждать, что у него имелся уже традиционный набор врагов, бывало, становившихся интеллигентами, но не интеллигентными людьми. Нож, веревка, бомба, револьвер – обычный набор национального революционера. У диссидента – перо, бумага, готовность к жертве, в основном, к чужой. Понятие блага у всех них подменялось категорией свободы.

Начнем в алфавитном порядке. *Албанцы*. Это "племя", насчитывавшее около полу-миллиона человек, жившее по обычаям родового строя, населяло "обширные" пространства Косово, Метохии и Македонии. Идея Великой Албании, включавшей сербские и македонские территории, являлась движущей силой, которая двигала албанцев на восстания и теракты против сербов. В свою очередь, православные не забывали албанцам "плату" в 150 тыс. жизней за возвращение на исторические земли в годы балканских войн и имели все основания не считать шиптаров (презрительная кличка потомков Скендербега) даже национальным меньшинством. Их как бы просто не существовало: были албанцы – чистильщики улиц, старьевщики, барахольщики и пр. Не было, грубо говоря, албанской нации. Даже в многочисленных книгах по истории Югославского государства чрезвычайно редко можно встретить хоть бы какое-либо упоминание об албанцах. Соответственной являлась и политика сербского Белграда, для которого было легче "закрыть глаза" и не трудиться там, где нужна лишь сила. Однако при этом не учитывались фактор времени и опасность соединения фанатизма с книгой. Враги великосербства получали образование в соседней Албании. Никакие меры запретительного характера не давали результатов. Надо, видимо, вспомнить и то обстоятельство, что для тех же городских сербов работа среди албанского населения воспринималась, мягко говоря, как ссылка. Ситуация была чрезвычайно тяжелой и запутанной: великоалбанские настроения можно было нейтрализовать только предоставлением определенных льгот и вкладыванием средств в просвещение – и одно и другое не вызывало доверия. В то же время нельзя говорить, что власти ничего не делали: открывались албанские школы, библиотеки, читальни. Однако гораздо успешнее шла работа мусульманских учебных заведений, учителя которых не владели свободно сербским языком, а их воспитательная работа могла быть означена как антисербская [2. С. 130]. В сущности, те же медресе служили рассадниками албанского национализма, но отнюдь не югославизма в его сербском обличье. Безусловно, Белград в своих целях использовал мировой опыт, в частности, переселенческую политику. Для того чтобы "разбавить" концентрацию албанского населения тысячи сербских крестьян были переселены в Вардарскую Македонию и Космет, где получили землю и небольшую финансовую помощь и другие льготы. Однако желаемого результата получить не удалось уже по той причине, что власти не были в состоянии проводить сколько-нибудь долгосрочную программу по поддержке колонистов, вынужденных хозяйствовать дедовскими методами. В сущности, переселенческая политика и практика послужили дополнительными импульсами к усложнению ситуации. Албанское население так и осталось "закрытым" обществом, живущим достаточно долгое время на сербской земле, чтобы считать ее своей и смотреть на власть сербов как оккупационную.

В сложившейся ситуации легче всего обвинить Белград, который действительно не смог за два десятка лет расчистить исторические завалы. Но, оставляя в стороне иронию, следует подчеркнуть, что мира и не могло быть между сербами, считавшими

себя цивилизованным народом, и "дикарями-шиптарами". Национализм победителей мог подчинить иные народы, но не мог нейтрализовать национализм, зачастую только тлеющий. Как известно, под пеплом угли гораздо дольше сохраняют свой жар: именно таким и являлся албанский сепаратизм.

Босанцы (босняки, мусульмане). Для них, когда-то бывших хозяев Боснии и Герцеговины, настали тяжелые времена. Роли переменялись: теперь сербы могли беспрепятственно творить свои "суд и волю". По данным одного из босанских историков, в период с 1918 по 1921 гг., т.е. до принятия Основного закона, были убиты 2 тыс. босанцев [3. С. 57]. Шел "передел" земли: сербы теперь ее захватывали, как раньше мусульмане, с молчаливого одобрения белградских властей, вводивших новых хозяев в законные права. Мечети переустранивались в православные церкви. Случалось, что босанцы были вынуждены, чтобы сохранить себе жизнь, переселяться в другие края. Теперь они испытывали на себе все то, что ранее они устраивали сербам. Во многих местах стало действовать правило: хочешь жить – плати выкуп. Но иногда и деньги не спасали мусульман от нападений сербов даже во время молитвы в мечетях. Вся та ярость, долго скрывааемая во время турецкого господства, теперь выплеснулась наружу. В сущности, Босния и Герцеговина должны были стать территорией сербского господства, где не было бы неприятностей, чинимых недовольными агами и бегами, которым, как писала белградская газета "Звоно", место в Турции. Однако бывшие хозяева также считали Боснию и Герцеговину своей родиной и вотчиной и не собирались покидать ее, хотя причин для этого было более чем достаточно.

Здесь следует упомянуть правительственные постановления, позволившие массе сербских арендаторов стать владельцами земельных участков, когда-то захваченных по праву силы теми же мусульманами у сербства. И хотя Белград выплатил огромную сумму бывшим крупным держателям, они были более чем недовольны. И тем не менее эти настроения не переходили так называемых границ политической лояльности. Мусульманские политические деятели, объединенные прежде всего в Югославскую мусульманскую организацию (ЮМО), поддерживали идею югославянства, делая ставку на эволюцию. В то же время руководство ЮМО декларировало тезис о том, что их соплеменники сначала мусульмане, а потом – югославы. Выступая за ревизию Видовданской Конституции, за федеративное устройство Королевства, ЮМО тем самым выдвигало требование автономии мусульманских Боснии и Герцеговины и, соответственно, формирования своего правительства. Однако тезис автономизации был воспринят Белградом, имевшим давние споры по этой проблеме с хорватами, резко отрицательно. В подобных заявлениях обычно видели прежде всего антигосударственный курс, открытие фронта против сербства [3. С. 93–94]. Именно требование автономизации мусульманами Боснии и Герцеговины, национальность и вера которых зачастую трактовались в одном ключе, нежелание идти под охраной сербов к "братству и единству", создавали трудности для Белграда, для сербских националистов, видевших в уступках мусульманам пропасть для своих соплеменников, живущих в Боснии и Герцеговине. (Здесь хочется привести картинку из недавнего прошлого. Почта. На стене две надписи. Первая: "Здесь – Сербия". Вторая: "Дурак, это почта".) Урегулирование всех спорных проблем, отягченных тяжелым прошлым, политизированных настоящих, требовало времени, но его не было.

Македонцы. В новом Королевстве македонская проблема была "решена" переходом части "сербских исторических земель" в сербские руки. Крепость решения обеспечивали четыре дивизии и два десятка тысяч комитаджей из "цивильного" населения, получавших жандармское жалованье. К этому надо добавить и такую структуру, действующую в этом регионе, как Сербская националистическая организация. Можно вспомнить и Организацию югославских националистов, которая в своей работе здесь также *volens-polens* содействовала упрочению позиций Белграда. Добавлю, что в законодательстве Королевства имелся пункт, по которому лица, служившие в болгарской армии во время последней войны, могли быть осуждены на 15-летнее тюремное заключение [4. С. 325, 327]. Если учесть, что множество македонцев в свое

время носило болгарские шинели, то следует признать одно – сербы являлись талантливыми учениками Никколо Макиавелли. Они были готовы защищать свои новые-старые земли в борьбе с известным Коминтерном, делавшим ставку на раздувание революционного пожара на Балканах и, соответственно, на создание Балканской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Достаточно успешно сербский Белград боролся со своим старым соперником за Македонию – ВМРО (Внутренняя Македонская революционная организация), выступавшей под лозунгом независимой Македонии. В сущности, в этом противоборстве Белград имел гораздо больше преимуществ, нежели разъединенные и враждующие между собой македонские националисты, зачастую больше занятые своими междоусобицами, чем вопросами объединения. И здесь Белграду в немалой степени помогала упомянутая рознь среди "учителей", борьба, зачастую кровавая, между македонцами-автономистами и их соплеменниками, поступившими на сербскую службу. Сам Белград в процессе колонизации сербской Македонии, например, черногорцами, не жалел денег на антимакедонскую пропаганду и жестоко преследовал всех тех, кто подрывал "спокойствие" в крае. На бытовом уровне сербы относились к македонцам довольно презрительно. Грубые шутки и вульгарные анекдоты о македонцах бытовали весьма долго в сербской мещанской среде, где их признавали болгарскими, отрицая право на самоназвание.

В политике было несколько по-другому. Один из народных посланников, выступая в 1926 г. в парламенте, открыто говорил о том, что македонцы в действительности являются только сербами, которые были в свое время подвергнуты чуждой массовой пропаганде [5. С. 243]. Соответственно выдвигалась и решалась задача "сербизации" населения, прежде всего через просвещение. В борьбе с македонскими националистами сербы были готовы идти на конфликт с Болгарией, чья территория служила базой для многочисленных четнических отрядов, постоянно вторгавшихся в сербскую Македонию. Так, в 1924 г. София перед угрозой вооруженного вмешательства, способного вызвать очередной пожар на Балканах, была вынуждена арестовать большое количество македонских националистов и принять по отношению к ним ряд других репрессивных мер. В той ситуации новый передел македонских земель, решаемый только очередной войной, чреватой революционными потрясениями, не был нужен Европе, на которую "оглядывались" балканские правительства. И хотя македонские националисты не "успокаивались", но жесткая политика Белграда себя оправдывала – гражданская война с обязательной ее балканизацией и интернационализацией не состоялась.

Схватка сербства с национализмом населявших страну народов была характерна для всего периода существования королевской Югославии. При этом следует подчеркнуть, что идеологи сербства видели задачу создания единого цивилизованного пространства различных традиций и культур только через сильную государственную власть. Был провозглашен курс "на Европу" с "отрицанием" каких-либо сепаратистских устремлений, вызванных этноконфессиональными различиями, политическими играми и культурной принадлежностью к тому или иному миру. Стратегия Белграда по реализации идеи югославского "братства и единства" не исключала при этом контроль над ней. Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что эта идея, получившая распространение прежде всего в сербской молодежной среде и не принимаемая теми же хорватами, все же была скрытой, во многом еще неясной формой сербизма наоборот, цель которого заключалась в создании нового человека – югослава. Однако процесс растворения сербов в югославянстве требовал определенных условий, прежде всего консенсуса всех народов. А этого не было и не могло быть по причинам исторического характера. Добавлю, что сам термин "югославянство" многими трактовался в духе великосербской идеи [5. С. 323]. При этом не следует забывать, что феномен национализма, включающий в себя культурную, политическую и экономическую компоненты, тесно связан с вводимым мной принципом фоллоумизма (от англ. *follow me* – "следуй за мной". – В.К.). В случае с королевской

Югославией это означало одно – сербский югославизм. "Все люди равны, но некоторые – равнее" – этот тезис из "Скотского хутора" Джорджа Оруэлла достаточно ярко отражал внутреннюю ситуацию в небольшой империи.

Сама Конституция 1921 г., определявшая государство как конституционную, парламентскую и наследственную монархию, была круто замешана на централизме с перевесом исполнительной власти над законодательной, короны над народом. Так, декларации о демократизме не помешали поставить вне закона коммунистов. Правительство страны в основном составлялись не в Народной скупщине, а при дворце Александра, слывшего мастером политических игр. Например, хорватскую оппозицию он пугал "ампутацией" Хорватии, связями сербов со словенскими и мусульманскими верхами, хорватскими диссидентами или усилением полицейского режима. Будучи главой армии, он опирался на тайную организацию "Белая рука", возглавляемую командиром королевской гвардии генералом П. Живковичем [6. С. 66, 68]. В сущности, министры были лишь исполнителями и проводниками королевской воли и политики. При этом отмечу, что посты премьер-министра, главы Скупщины, министра иностранных дел почти всегда находились в руках сербов. Разумеется, это не означает, что они должны были вести просербскую политику, но сам факт концентрации власти в сербских руках налицо.

Неординарность ситуации состояла и в том, что в Сербии сформировались два консервативных политических центра: один около монарха, другой – вокруг Н. Пашича и его сторонников, выступавших в защиту государственных и национальных интересов сербства теперь уже в границах нового Королевства. Безусловно, оба они – Никола Пашич и Александр Карагеоргиевич – отстаивали централизм в управлении государством, в котором, грубо говоря, сербы доминировали над остальными народами. Их разнил ответ на вопрос: кто будет хозяин в стране? Для лидера радикалов хозяином в Югославии должна выступать конституционная и парламентская монархия, обладающая мощным полицейским и бюрократическим аппаратом управления, позволяющим держать под контролем Белграда внутреннюю ситуацию, в новых землях особенно. При этом тезис тех же радикалов о том, что сербы, хорваты и словенцы – один народ, отходил на задний план. Король же упорно работал прежде всего над утверждением и укреплением монархической, самодержавной власти. Именно власть монарха без какого-либо посредничества могла, по его мнению, гораздо успешнее решать задачи государственного единства, нежели Скупщина с партиями и их политиками. Именно фигура монарха должна символизировать народное единство и государственную целостность. Его концепция была реализована 6 января 1929 г.: Конституция практически ликвидировалась, запрещались политические партии и общества, самоуправление сводилось к нулю, была распущена Скупщина, главой кабинета назначен генерал П. Живкович. Свои действия король оправдывал "высшими народными и государственными интересами и их будущностью". (В 1931 г. под давлением Парижа, предоставившего Белграду внушительный заем, Александр "подарил" стране октроированную Конституцию.)

Больше всего хлопот сербам и их королю доставляла *Хорватия* с ее настойчивыми требованиями большей независимости. Нужно было время и большая работа для действительного сближения этих двух славянских народов, имевших разные исторические судьбы, развивавшихся в лоне различных культур и влияний. Однако жизнь диктовала свои правила. Уже с 1920 г. сербы начали заменять хорватов на крупных административных постах. В армии карьеру мог сделать прежде всего серб. В самой Хорватии полиция и администрация находились в сербских руках [7. С. 170]. Подчинение "диким" сербам было унижительно для "культурных" хорватов. Сербский монархизм претил хорватским республиканским чувствам. Королевство как форма государственного объединения национальностей после провозглашения Вильсоном права на самоопределение народов выглядело неким атавизмом для хорватских националистов. Да и сама политика сербов, во множестве представленных в госаппарате, давала многочисленные поводы для обвинения центральных властей (читай –

сербских) в беззакониях, взяточничестве, даже в телесных наказаниях, что вызывало особое возмущение в европеизированных Хорватии и Словении. Вероятно, такие же чувства испытали хорваты, когда в 1924 г. Пашич выдвинул идею отделения Хорватии, но без Далмации и Славонии, которые оставались бы за Сербией [7. С. 174].

В сущности, вся политическая жизнь Королевства СХС (или "Великой Сербии") так или иначе была связана с национальным вопросом, в частности, с сербско-хорватскими противоречиями в этой сфере. Борьба с переменным успехом шла по многим направлениям. Как метко выразился С. Радич, хорваты горько шутили, что они "раньше... были авангардом Европы в Азии, а теперь стали арьергардом Азии в Европе" [7. С. 172]. И хорватский национализм не уступал сербскому, пользуясь всеми доступными ему способами для развала сербской гегемонии в форме унитарного Королевства. Для этого использовался целый комплекс приемов, методов, средств – от политической борьбы в цивилизованных рамках многопартийного государства и до террора. Все, в чем хорваты превосходили сербов, служило наглядным доказательством сербского "примитивизма": здесь были и земляные полы в сельских домах, и неграмотность массы сербства, и пр. Враги сербства усердно создавали стереотипы о дикости сербов, о "наглости" их политики по объединению своего народа. Босния и Герцеговина объявлялись ими исключительно мусульманским и хорватским доменом, Косово и Метохия – албанским, Воеводина – венгерским, а Славония и Далмация, дескать, исторически принадлежат хорватам. Да и сами сербы не забывали преступлений, совершенных в ходе недавней войны теми славянами, которые сражались под знаменами Австро-Венгрии. Поэтому и не только в связи с этим сама идея "югославянской нации" не являлась такой уж близкой и самим сербским массам, не забывавшим, на чьей стороне воевали хорваты в Великой войне. В то же время нельзя сказать, что вся политическая элита сербского народа была настроена и действовала с позиций "племенного национализма". В ней имелись и свои "непримиримые" и свои "соглашатели", действовали "победители" и "побежденные".

В Сербии, например, развернулось так называемое югославянское народное движение во главе с монархистом Д. Лютичем. Его идеология и программа были рассчитаны прежде всего не на "партийную" интеллигенцию, а на крестьянство, на "почву", не зараженную инородными "телами и веяниями". Бог – господин вселенной, царь – рачительный хозяин государства, глава семьи – распорядитель дома: таков, по мнению Лютича, символ "народного здоровья". Только та страна счастлива, которой управляет монарх. Только здесь люди действительно свободны и в полной мере обладают всем спектром качеств национального характера. Соответственно, концепция Лютича имела ярко выраженный антикоммунистический характер. Более того, он и его движение "Збор" одну из своих основных задач видели в борьбе с коммунистами – разрушителями традиции, религии, нации, с их пропагандой, рисовавшей, в частности, "картинки с выставки" о жизни в СССР. И в последовавшем в 1940 г. признании СССР он видел страшную опасность для своей страны. Лютич видел горестную для него картину того, что "матушка" Россия все больше сливается в глазах его народа с образом "батюшки" Сталина. Признание СССР понято народом, рассуждал Лютич, как признание Совдепии Россией. Соответственно, все коммунистические заблуждения автоматически становятся истинами, а преступления – достоинствами [8. С. 211]. В свою очередь коммунисты, стремясь заклеить его в глазах общества, представляли Лютича фашистом, что не является верным.

Говоря о национально-государственных взглядах Лютича, следует подчеркнуть, что в них сочетались идеи югославянства, всеславянства, сербского традиционализма, органического консерватизма. Во всяком случае он в тех вопросах, которые касались внутренних дел, любил цитировать Блаженного Августина: "В том, что нужно – необходимо единство; в том, что различно – требуется свобода; в остальном – любовь" [8. С. 3]. Однако не следует забывать, что Лютич был одним из тех, кто приветствовал январское 1929 г. решение короля Александра, упрочившее унитаризм управления. В заочной дискуссии с В. Мачеком по хорватскому вопросу Лютич

не уставал подчеркивать, что хорватский лидер может говорить о всей Югославии как о своей стране, но не смеет требовать ее трети и выделять эту часть в отдельное "царство" [8. С. 144]. И не следует забывать, что, в сущности, Лютич и его немногочисленное движение "играли" в национальном вопросе на стороне короля Александра. В "Збор", наряду с сербами, входили и хорваты и словенцы, и все же в патетических высказываниях его лидера чувствуется любовь прежде всего к Сербии, к Великой Сербии. Именно на сербов он делал ставку в прозреваемом им столкновении с хорватами [8. С. 212–217]. Он был государствовник, охранитель и монархист. Но прокламируемые им идеи югославянства не могли охватить ни сербов, ни хорватов, ни словенцев уже по той причине, что государство распалось, количество защитников его в тогдашнем оформлении сокращалось, монархическая идея, особенно после смерти короля Александра, угасала.

Не менее интересна деятельность Сербского культурного клуба (СКК), чей статус был официально утвержден в январе 1937 г. Основная цель этой институции заключалась в обихаживании сербской культуры в рамках югославянства без какой-либо примеси политики. СКК был создан интеллектуалами, представителями политической и экономической элиты. Определенная нейтральность клуба давала возможность участвовать в его работе людям различных политических взглядов и мировоззрений. Подчеркивалась несомнимостью деятельности СКК с разжиганием какой-либо этноконфессиональной вражды. Наоборот, одна из задач состояла в том, чтобы между сербскими, хорватскими и словенскими культурными кругами устанавливать связи и развивать сотрудничество по вопросам общего характера. Причем деятельность СКК наиболее активно развертывалась в пограничных областях, где сербство – его национальная и духовная компоненты – было подвержено "чуждым влияниям". В качестве примера можно назвать территорию Боснии и Герцеговины, где СКК работал над задачей показать сербский характер этих земель (по переписи 1931 г. там проживали: 1 028 139 православных, 732 089 мусульман, 547 949 католиков). В то же время он поощрял сотрудничество православных сербов и босанских мусульман. Главную угрозу СКК видел в хорватах с их планами ассимиляции мусульманства. Босна с ее доминирующим сербским населением представляла для деятелей СКК своеобразный щит от популзновения того же Загреба. Подкомитеты СКК в Вуковаре и других местах выступали за выделение населенных сербами территорий из Хорватской бановины и включение их в сербскую территориальную область. Одновременно СКК поддерживал и поощрял требования хорватских сербов о предоставлении им всех прав, которые Загреб требовал от Белграда. Особое внимание здесь уделялось далматинским сербам и Дубровнику, критиковался тезис о том, что эти территории имеют исключительно хорватский характер.

Подкомитеты в Скопле (Скопье) и Штипе развивали бурную деятельность, пытаясь через историю доказать сербский характер Македонии (в представлении СКК и многих других – Южная Сербия). В ход шли самые разнообразные средства и приемы, вплоть до аргумента, что "македонский язык" как таковой исчез тысячу лет тому назад. В том же духе СКК действовал и в многонациональной Воеводине, где, по его мнению, также существовала опасность для сербства и его культуры со стороны мадьяр [5. С. 506–514]. (По данным на 1936 г. там было: 30% сербов, венгры составляли около 27%, дальше следовали немцы, румыны и др. [5. С. 554].) В противовес тем, кто утверждал, что Македония – болгарская земля, Босния и Герцеговина – хорватская и мусульманская, Косово и Метохия – албанская (арнаутская), Воеводина – венгерская и т.д., СКК выдвинул лозунг: "Где живет (буквально – дышит. – В.К.) хотя бы один серб, там и Сербия". Понятие "Родина" обнимало пространство от Суботицы до Далматинского Косова возле Шибеника и от Сушака до Джевджелии. Солидарность наследников св. Саввы прежде всего означала активную деятельность в просветительской, экономической и социальной сферах во всех населенных сербами краях и всеми слоями сербства. Торжественно заявлялось, что время отчуждения от своей истории, время не помнящих родства бесповоротно ушло [5. С. 514–515].

Работа самого СКК шла в двух направлениях: чтение лекций по важным национальным и культурным проблемам, а также выдвижение и поддержка всех акций по оживлению частной инициативы сербов в национальной и культурной сферах. Свое влияние СКК стремился распространять через такие родственные организации, как Союз сербских культурных обществ, Союз сербских хозяйственных учреждений, Совет патриотических, военных и рыцарских организаций. Цель СКК стать национальным, культурным и духовным центром сербского народа не выглядела утопичной или чрезмерно претенциозной: из 70 его членов-основателей 22 были университетскими людьми, шестеро занимали высшие должности в правительстве и его аппарате, восемь находились на ключевых постах в ассоциации промышленников и банкиров и т.д. Забота о сербской культуре объединяла в рядах СКК демократов и монархистов, унитаристов и федералистов. В СКК выступали с лекциями известнейшие люди, достаточно назвать имена Д. Максимович и И. Секулич. Возглавлял СКК профессор Белградского университета Сл. Йованович. Секретарем являлся участник сараевского убийства преподаватель того же университета В. Чубрилович. В надзорный комитет входили генерал Ж. Павлович, ректор Белградского университета Д. Йованович, председатель Кассационного суда Д. Янкович, директор Ипотечного банка Торгового фонда Т. Ристич. Отсюда совершенно естественно, по мнению СКК, что именно интеллигенция должна была играть ведущую роль в сербстве, его пробуждении, возрождении, развитии. От нее требовалось забыть "моральное пьянство" 1920-х годов, "похмелье" 1930-х и перейти наконец к энергичной работе для народа, его культуры, по включению в народное движение, обозначаемое как "просвещенный патриотизм". СКК считал, что та культура, которая теряет связь с народом, не имеет перспектив. Ангажированной литературе противопоставлялись национальные ценности святосавского духовного свойства. При этом подчеркивалось, что социальная литература дегенерировала в марксизм, а коммунизм есть не что иное, как продукт иностранной пропаганды [5. С. 515–524].

Не обходил стороной СКК и идею интегрального югославянства. По мнению его членов, она была ошибочна в корне, так как объединяла в один народ сербов и хорватов. По мнению Сл. Йовановича, понятие "югославянство" требовалось трактовать и отстаивать как государственную идею, но не как национальную [5. С. 535]. При этом главного врага СКК видел не в хорватах, интегральном югославянстве, коммунизме, диктатуре, иностранной пропаганде, а в слабости сербства, выраженной прежде всего в отсутствии единства, размежевании интересов [5. С. 539].

С течением времени, на фоне убystрающихся европейских событий и нерешенности внутренних национальных проблем деятельность СКК вместо прокламированной толерантности все больше приобретала черты сугубо сербского традиционализма в его наиболее жесткой форме: конструктивные размышления на тему сербской культуры в рамках югославянства, трезвость оценок деятельности сербских политиков постепенно уступали место политическим декларациям, где не было югославянства. В свое время инициатор создания СКК сказал знаменательную фразу: "Жизнь многолика, а идеал одноцветен. Если жизнь не подчинится простым принципам идеала, это для нее будет бесцельная трата сил. Если же идеал захочет уничтожить многоликость жизни, то он превратится в мертвую, пустую форму" [5. С. 560–561]. Именно это и произошло с СКК, который многоцветье жизни свел к политике. Однако это была не столько вина СКК, сколько знак продолжавшейся революции с ее зарницами национализма, отчаянно борovéhoся за свою историю.

Если в СССР все были советскими людьми, то в государстве переименованном в Королевство Югославия, – югославами. Такая стратегия только усиливала стремление "разделаться" с Александром крайних хорватских националистов, так называемых усташей. (Возникновение их организации не случайно относится к январю 1929 г. Сторонники фашизма Муссолини и Гитлера выступали за вооруженную борьбу по освобождению Хорватии. Они были в поле зрения некоторых разведслужб, в том числе венгерской, и имели ряд своих баз в странах Европы,

прежде всего в Италии.) Король счастливо избежал двух покушений в Загребе, но в 1934 г., когда он находился с официальным визитом во Франции, югославским террористам удалось осуществить свой план и скрыться на территории других стран.

Сербы хоронили своего короля с посмертным титулом "Король-Витязь Александр I Объединитель". Сербский Патриарх Варнава служил заупокойную литургию. От возглавителя Русского императорского дома на похоронах присутствовал глава младороссов А.Л. Казем-Бек, возложивший огромный венок "Александрю – Кирилл". Присутствовали высокопоставленные представители многих стран, в частности, генерал Геринг, самолеты которого спустя несколько лет будут бомбить Белград.

На сороковой день смерти Александра, 17 ноября, вышел специальный газетный выпуск "Россия", где поместили свои статьи И. Шмелев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, И. Бунин, А. Деникин, И. Голенищев-Кутузов, Вас. Немирович-Данченко, А. Ксюнин, М. Алданов, И. Лукаш, П. Струве, С. Горный, И. Северянин, К. Бальмонт, А. Куприн. "Это был венок, сплетенный... и возложенный на могилу короля от имени благодарной русской эмиграции, которой во всех ее начинаниях помогал король" [9. С. 202]. Можно вспомнить, что под его покровительством в сентябре 1928 г. именно в Белграде состоялся первый съезд русских писателей за рубежом, которых он принимал не как "гонимых и заброшенных эмигрантов, а как сыновей Великой России". Непосредственно после трагедии в Марселе проф. А.В. Карташев подчеркнул, что король Александр был "великий серб с русской душой" [9. С. 200].

По причине малолетства короля Петра II было назначено регентство, порученное принцу Павлу (1934–1941), на плечи которого и легла основная тяжесть по управлению государством, целостность которого по-прежнему находилась под вопросом, поставленным Загребом.

"Великая Сербия" и теперь не хотела слышать о каком-либо переустройстве Королевства на федеративных началах. Ученик Пашича М. Стоядинович, возглавлявший некоторое время кабинет министров (1935–1938), в ответ на требование хорватской стороны ответил дипломатично, но жестко: предлагаемые изменения связаны с пересмотром Конституции, внесение "поправок" в которую возможно лишь после совершеннолетия короля Петра II. На "выстрел" Стоядиновича хорватский крестьянский лидер Мачек достаточно ясно и грозно ответил, что хорваты ждали семнадцать лет и могут потерпеть еще какое-то время, но события торопят и помощь хорватов сербам может понадобиться раньше наступления королевского совершеннолетия. "И не будет ли поздно вести с ними переговоры", куда Петр II достигнет требуемого возраста? [7. С. 178]. История подтвердила правоту хорватского политика, но она оправдала и тактику Стоядиновича, не пожелавшего пойти на сговор с Мачеком, предлагавшим мир на условиях устроения федеративного государства и предоставления Хорватии в ее исторических границах, включавших Славонию и Далмацию, политической автономии. Для сербства "мир по-хорватски" означал очередную ступень, ведущую их родину в Белградский пашалык. Такая перспектива была неприемлема для Белграда. Сербско-хорватский спор на фоне Мюнхена не мог не вызывать тревогу у политиков в Югославии, срочно нуждавшейся хотя бы в замазывании проблемы. Паллиативное решение, как обычно, было найдено в смене кабинета, очередным главой которого стал Цветкович.

В определенной степени сербам помог аншлюс Австрии в 1938 г. уже по той причине, что "некоторые загребские элементы, работавшие против Белграда и рассчитывавшие на возвращение Габсбургов на австрийский престол, ныне должны вычеркнуть эту преступную возможность из своих счетов" [10. С. 81]. Несмотря на оживление торговых и экономических отношений с Германией, Белград (королевское регентство и правительство Стоядиновича) был верен союзу с Парижем, избегая всего того, что могло бы обострить отношения с Берлином.

То же правительство Стоядиновича, "следуя традиции", всячески затягивало признание СССР.

Вопрос о признании СССР в явной или скрытой форме всегда присутствовал в политико-общественной жизни и настроениях страны, особенно Сербии. Например, в 1933 г., после подписания странами Малой Антанты, куда входила Югославия, Лондонского пакта с СССР о ненападении, эта тема была поднята в парламенте. 22 марта М. Стоядинович, выступая в сенате, говорил: "Сегодня слышал, что некоторые гг. сенаторы требуют, желают и думают, что необходимо признание нашим государством СССР, ставя его в ряды государств, желающих мира в Европе... Существует два мира: один внешний, на границе, другой внутренний, социальный мир всякого государства. Я не хочу отрицать, что Советы ведут миролюбивую политику, благодаря которой избегают открытой войны на своих границах; я не отрицаю и того, что Советы весьма заинтересованы в сохранении мира внутри своего государства, поддерживая его драконовскими мерами и весьма драконовскими средствами. Но, господа, нам здесь, в Югославии, нужна еще одна гарантия, которую до сих пор от советского правительства мы не получили: это – гарантия невмешательства Советов в наши внутренние дела... Пока Советы не прекратят коммунистической агитации у нас в Югославии, до тех пор не может быть и речи о признании советского правительства" [9. С. 221–222].

Но у народа имелось свое мнение. В 1934 г. руководитель русской миссии в Белграде В.Н. Штрандман писал, что широкие слои населения Югославии под влиянием большевистской пропаганды "не делают разницы между добродетельной матушкой Россией и поработившей ее большевистской антирусской властью", что министр иностранных дел "неоднократно был принужден давать объяснения депутатам и сенаторам касательно существенной разницы между советской властью и русским народом" [11. С. 58].

В 1938 г. в Югославии, как писал далее русский дипломат, «велась пропаганда со стороны группировок, в то время убеждавших Москву заключить с ними различного рода политические и военные договоры. Пропаганда эта была по самому чувствительному нерву наших братьев-славян, а именно – по их русофильским наклонностям "во что бы то ни стало". Им объяснили, что как в 1914 г. их спасла Россия, так и теперь их спасет Россия от той же германской опасности. Летом по случаю тех или иных уличных манифестаций, которые иногда провоцировались большевистскими агентами, толпа криками приветствовала Францию и Сталина. Ныне та же толпа кричит против Франции, но по-прежнему за Сталина, мнимая спасительная роль которого крепко запала в души. Успех пропаганды настолько велик, что состоятельные люди открыто говорят о целесообразности поступления в коммунистическую тайную партию, чтобы при приходе большевиков в Югославию они их не тронули. Прихода большевиков ожидают как какого-то избавления. Мне известны народные собрания в провинции, где народ прямо высказывался за необходимость их приглашения» [10. С. 264–265].

Понимая всю опасность коммунистической пропаганды, тесно связанной с Россией и ее строительством "новых небес", Стоядинович был последовательным противником установления каких-либо сношений с большевиками. "Но вместе с тем, – как подчеркивал Вл. Маевский, – он отказывался вступить в идеологический фронт борьбы против большевизма: реальный политик понимал, что за этим фронтом стоит угроза России как таковой, и принимать участие в борьбе против Советской России – это значит вести борьбу, в которой сербский народ ничего не поймет и на которую не пойдет" [9. С. 208].

Обычно, говоря о М. Стоядиновиче, историки подчеркивают его германофильство. Однако не следует забывать его усилия по укреплению югославской идеи в сербском оформлении. Так, в результате его деятельности было образовано Югославское радикальное объединение, в которое вошли словенцы во главе с А. Корощцем и боснийские мусульмане, руководимые Спахо. В стороне оставались лишь хорваты, которые не желали "идти в ногу" с Белградом. В свою очередь "Збор" выступал непримирным врагом уступок Загребу. Эту ситуацию в своих пропагандистских целях

поспешили использовать коммунисты, выступив сторонниками переустройства государства на федеративных началах. Их тактика может быть объяснена лишь только через "постепеновщину": надо сначала "сломасть" монархию, чтобы потом через демократизацию прийти к "социализации".

Заключение югославо-итальянского соглашения (25 марта 1937 г.) позволило сербам в обмен на "лояльность" в абиссинском вопросе на время забыть о притязаниях Италии на побережье Адриатики. Однако дипломатическая и экономическая активность Белграда с Римом и Берлином не означала еще его готовности переметнуться от Франции и Англии к Италии и Германии.

14 марта 1938 г. Гитлер въехал в Вену, т.е. после аншлюса Германия стала для Югославии пограничным государством. 29 апреля 1938 г. Англия и Франция заключили оборонительный союз, но Германия знала свою силу – 29 сентября был Мюнхен, означавший конец Чехословакии. Европа спешно заключала союзы, соглашения, договоры. В гонку договоров, зондажей и консультаций включился и заместитель князь Павел. 31 мая 1939 г. он, по настоянию Стоядиновича, вместе с женой княгиней Ольгой выехал в Берлин с визитом, во время которого намеревался прозондировать будущее югославо-германских отношений. Результаты визита должны были снять опасения, что Югославия подвергнется разделу: Гитлер заявил о незыблемости германо-югославской границы, т.е. о "вечном" мире. В качестве знака своего особого расположения вождь Германии приказал вернуть Сербии две пушки, принадлежавшие некогда Александру Карагеоргию и находившиеся в Венском военном музее [9. С. 217]. Этот "сувенир-передарок" все же мог расцениваться и по-иному: Белград в определенных обстоятельствах имел реальные шансы стать очередным Мюнхеном. Возможно, это понимали в сербской столице и в конечном итоге решились пойти на "худой мир" с Загребом, нежели ожидать самого худшего.

Говоря о последних событиях в истории сербско-хорватского противостояния, В.Н. Штрандман писал в декабре 1939 г.: "Как известно, недавно в Королевстве проведена, хотя еще не вполне закончена, реформа по самоуправлению Хорватской бановины (в августе 1939 г. между премьером Югославии Ю. Цветковичем и представителем Хорватии В. Мачеком с согласия принца-регента Павла было достигнуто давно желанное хорватами соглашение о восстановлении парламента и создании новой бановины (региона) Хорватии с определенными правами в области самоуправления. Данная уступка, сделанная в преддверии войны, по сути дела может быть охарактеризована как один из ее предварительных результатов. – В.К). (...) Эта широко задуманная реформа явилась подходящим моментом, тем более при нынешнем вооруженном состоянии Европы, для большевистской агитации, которая, с одной стороны, подстрекала хорватов к постоянно новым требованиям больших свобод, с другой – науськивала сербскую часть населения Югославии на тех же хорватов и против правительства, которое якобы разрушает дело единства королевства и т.д." [10. С. 264].

Соглашение не удовлетворило ни "крайних" хорватов, ни тех сербов, которые не были сторонниками автономизации Хорватии. В частности, члены СКК с их кредо "сильное сербство в сильной Югославии" негодовали по поводу границ новой бановины, в которой оказалось около миллиона сербов. Хорваты же подчеркивали, что соглашением реализована лишь часть их народной программы. Сербь были уязвлены и бесцеремонностью в отношении к сербам во время чисток новыми властями чиновничества. Лидеров СКК возмущала таинственность, окружавшая процесс соглашения, отсутствие настоящих сербских представителей, вместо которых заседали политические "бухгалтера" и простаки. Сербский культурный клуб подчеркивал, что он никогда не согласится оставить районы с сербским большинством в бановине Хорватской. Требуя ревизии договора, они настаивали, чтобы сербам дали право свободного волеизъявления по вопросу о том, хотят ли они, чтобы их районы остались в хорватских границах, или выступают за присоединение к сербским территориальным единицам [5. С. 526–529]. Для реализации той же ревизии нужно было

чувство меры, которого не было. Безусловно, тот же В. Мачек 14 октября 1939 г. на торжественном обеде у патриарха Гаврилы Дожица подчеркивал, что хорваты вели борьбу не против сербов, не против славянства, а только за признание своей национальной индивидуальности, и сейчас, после достижения своей цели, они могут с величайшей готовностью вступить в славянство и югославянство. Однако практика показывала другое: на местах творилась неправда, вопли недовольства доносились до Белграда [12. С. 569–570]. Оставалась надежда лишь на всемирного лекаря – время. Но его не было. Национализм набирал силу в Королевстве.

В сущности какого-либо "средостения" между властью и тем же сербством не было и по вопросу конкордата правительства с Ватиканом. Заглавную роль в развернувшейся с 1935 г. борьбе сыграл Патриарх Варнава и Святой архиерейский собор. Священноначалие Сербской Православной Церкви в своем представлении к правительству обращало внимание на то, что предлагаемый договор с Ватиканом возводит римско-католическую церковь в положение доминирующей государственной конфессиональной институции, в то время как позициям той же Сербской Православной Церкви (СПЦ), объединяющей большинство населения страны, автоматически наносится явный ущерб. В сообщении для печати подчеркивалось, что "СПЦ, будучи церковью большинства в Югославии, не может равнодушно смотреть на то, что какой-то другой конфессиональной институции предоставляют права, которыми не обладала СПЦ даже тогда, когда была государственной" [12. С. 581]. Следует отметить, что этот документ примечателен и по тому, что в нем архиереи "во главе с Патриархом обращаются ко **всему** православному народу нашего Отечества и призывают его, чтобы во время шатаний и разброда в мире держаться святой веры православной, веры отцов наших и преданно поддерживать свою святосавскую национальную Церковь" [12. С. 581]. Неизбежное столкновение между СПЦ и правительством приобрело в глазах сербского народа четко выраженный политический характер. Правительство Стоядиновича терпело неудачу за неудачей. Так, член парламентского комитета по конкордату М. Ружичич, выступавший на стороне правительства, был лишен священнического сана. Болезнь и смерть Патриарха Варнавы также "обыгрывалась" противниками Стоядиновича. Слухи о том, что "отравление" Патриарха было связано с правительством, неизбежно ослабляли позиции последнего. (До настоящего времени причины смерти возглавителя СПЦ до конца не разъяснены). Свообразным апогеем в истории столкновения между сторонниками "святосавства" с государством стала лития во здравие больного Патриарха. Несмотря на запрет официальных властей, ее устроители вывели народ на центральную улицу Белграда – Кнез Михайлову в час пик. В этой ситуации власти пошли на применение силы. Против участников молебствия были брошены жандармы. Лития стала "кровавой". Итог по своим результатам был таков: депутаты в парламенте в июле 1937 г. большинством голосов одобрили договор с Ватиканом. Но в своею очередь Святой архиерейский собор принял решение отлучить от Церкви всех голосовавших за конкордат министров и народных представителей, исповедовавших православие. Хотя, надо думать, эта жесткая мера вряд ли была реализована. Во всяком случае известно, что духовник Стоядиновича направил письмо в Синод с заявлением, что ему известны религиозные чувства пасомого, равно как и его приверженность к Сербской Православной Церкви. В конечном итоге "мир" и церковь пришли к соглашению на основе равноправия всех конфессий в стране. При этом, по требованию высшей церковной иерархии СПЦ, власти предприняли ряд мер против тех чиновников, действия которых спровоцировали "кровавую литию" [12. С. 579–594].

В 1940 г. Югославия признала СССР. Как писал Вл. Маевский, "по вопросу же признания советской власти давление шло с двух противоположных сторон: Германия и Италия, – любезно поддерживая своего нового союзника СССР, – прозрачно намекали, что пора перестать занимать враждебную позицию по отношению Советов; Англия и Франция также влекли Югославию в этом же направлении, будучи уверенны,

что СССР недолго выдержит характер наблюдателя и несомненно выступит против Германии" [9. С. 221].

30 апреля 1940 г. в Москву прибыла югославская торговая делегация во главе с крупным финансистом, бывшим министром Джорджевичем, 16 мая она вернулась в Белград, подготовив почву для подписания торгового договора (31 мая). Со стороны СССР его подписал посланник в Болгарии А.И. Лаврентьев. 24 июня ТАСС сообщил об установлении дипотношений между СССР и Королевством Югославией. Посланником в Югославии стал агроном по образованию В.А. Плотников, а в Москву поехал М. Гаврилович, лидер Сербской крестьянской партии. "Сербская пресса пришла в полный восторг... газеты... стали воспевать сталинский режим, его достижения и привлекательность. Русской же печати было совершенно запрещено критиковать советскую действительность" [9. С. 231].

Однако все эти "песни в адрес СССР" совершенно не гарантировали спокойствия и нерушимости границ Королевства в условиях уже начавшейся войны, в которой Германия одерживала только победы. Берлин был гораздо ближе и опаснее, чем Матушка Россия. В этой ситуации правительство в Белграде решилось пойти на присоединение к Тройственному пакту (25 марта 1941 г.), входя фактически в орбиту Германии. Однако народ – ни в столице, ни в провинции – не хотел вникать в тонкости "высокой политики" своих правителей и не скрывал своей, мягкой говоря, неприязни к пакту с Гитлером, со "швабами". Известно, что создававшаяся ситуация была использована группой офицеров во главе с генералом Д. Симовичем для совершения государственного переворота. 27 марта 1941 г. под лозунгом "больше рат, него пакт" ("лучше война, чем пакт") военные смешали германские карты. Судя по некоторым данным, руководители заговора поддерживали связи не только с английским посольством в Белграде, но и с советским военным агентом полковником Самохиным, который расписывал заговорщикам мощь Красной армии [9. С. 248]. Однако какой-либо реальной помощи от Москвы не последовало. В. Молотов 4 апреля заявил специальному эмиссару из Белграда полковнику Савичу, что СССР не может в настоящий момент пойти на подписание пакта о взаимной помощи, так как не готов вступить в конфликт с Берлином. Пока, по его мнению, можно было обсуждать договор дружбы без особых обязательств, что было воспринято сербской стороной, по вполне понятным причинам, критически [9. С. 255].

В самой стране на стороне вождей переворота, противников пакта с фюрером решительно выступила Сербская Православная Церковь во главе с Патриархом Гавриилом (Дожичем). Еще до заключения договора с Гитлером он посетил принца-регента Павла и заявил ему свое категорическое осуждение намечаемого акта. Глава СПЦ, судя по некоторым "совпадениям", например, срочному созыву Архиерейского Собора накануне переворота, был посвящен в планы Симовича и его сторонников в армии. 27 марта в своей речи с балкона здания патриархии он говорил следующее: "В эти дни перед нашим народом судьба снова поставила вопрос, какому царству мы больше расположены. Сегодня на заре... на этот вопрос был дан ответ: расположены мы царству небесному, т.е. царству Божьей истины и правды, народного согласия и свободы. Этот вечный идеал, носимый в сердцах всех и согреваемый в святилищах наших православных храмов и написанный на наших народных знаменах, – сегодня утром засветился чистый и светлый как солнце, очищенный и омытый от грязи" [9. С. 256].

Белград ликовал. Балканский южный темперамент находил свой выход в демонстрациях, пылких угрозах врагам по Первой мировой войне, избиении попавшихся под горячую руку некоторых сотрудников немецкого посольства и пр. Однако были и такие сербы, которые отчетливо понимали всю неотвратимость гитлеровского нападения. 6 апреля в 5 часов утра Берлин передал по радио объявление войны Югославии. Через несколько часов на улицах и площадях ее столицы рвались немецкие бомбы. Начиналась очередная война с Германией и ее союзниками. К этому времени относится следующая дневниковая запись Й. Геббельса: "Балканы больше не будут

пороховой бочкой Европы. И Россия не сможет больше совать свой нос, как перед Первой мировой войной. Вена с ее доброй, старой демократией тут не справилась. Мы должны навести здесь полный порядок. Это сейчас и происходит... Я прочел много материала о Сербии – страна, люди, история. Безумная страна! И еще более безумный народ. Но мы с ней управимся" [13. С. 248]. Управиться с ней хотели "свои и чужие": начиналась гражданская война.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Petranoviћ B.* Istorija Jugoslaviji 1918–1988. Beograd, 1988. Књ 1.
2. *Димић Л.* Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941. Београд, 1997. Трећи део. Политика и стваралаштво. С. 130.
3. *Filandra S.* Вођњаџка politika u XX стољећу. Sarajevo, 1998.
4. Македонскиот вoпpoc в документах Коминтерна / Сост. Л.И. Жила, В.Т. Поповскиј. Скопје, 1999. Т. 1. Ч. 1.: 1923–1925.
5. *Димић Л.* Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941. Београд, 1996. Први део: Друштво и држава.
6. *Petranoviћ B., Zeceviћ M.* Agonija dve Jugoslavije. Šabac, 1991.
7. *Неманов Л.* Сербо-хорватска проблема // Русские записки. 1939. № 17.
8. *Ljotiћ V.D.* Odabrana dela I knjiga. Minhen, 1981.
9. *Маевскиј В.* Русские в Югославији. Взаимоотношения России и Сербии. Нью-Йорк, 1966. Т. 2.
10. Чему свидетели мы были... Переписка бывших царских дипломатов 1934–1940 годов. Сборник документов в двух книгах. М., 1998. Кн. 2. 1938–1940.
11. Чему свидетели мы были... Переписка бывших царских дипломатов 1934–1940 годов. Сборник документов в двух книгах. М., 1998. Кн. 1. 1934–1937.
12. *Слијепчевић Ђ.* Историја Српске Православне Цркве. Београд, 1991. Књ. 2.
13. *Ржевская Е.* Геббельс. Портрет на фоне дневника. М., 1994.



© 2002 г. М. ЮВАН

ПОЭЗИЯ ПУШКИНА И ПРЕШЕРНА О ПОЭЗИИ

Вопросы роли и значения литературы и поэтическая саморефлексия. Период романтизма в европейских литературах является периодом секуляризации, эмансипации личности, временем критики традиционных авторитетов. С ростом буржуазии происходит процесс постепенной модернизации общества: ставшее более доступным образование способствует формированию общественного сознания и зарождению массовой культуры, общественное же разделение труда ведет к специализации и "рассеянию" знания по различным его областям. Традиционные центрированные легитимирующие системы – от религии и метафизики до норм феодальной политической власти – благодаря этим процессам, переживают кризис своего развития. Как подчеркивает З. Шмидт, в таких условиях именно к началу XIX в. литература становится новой, особой областью социально-языковой коммуникации [1. S. 12]. Создание и восприятие произведений художественного слова, начинает выходить за ограничивавшие их в прошлом рамки иных видов культурной практики, существовавших обычно в границах определенных общественных слоев, с которыми они были прежде связаны. Литература начинает играть противоречивую роль: с одной стороны, она утрачивает надежные социально-идеологические тылы, с другой, постепенно завоевывает себе то место, которое прежде принадлежало религии [2]. Так, уже в период раннего романтизма поэты в своих программных произведениях называли художественную литературу "новой мифологией" [3; 4].

Художественная литература приобретала роль особого языка, который в сознательно разделенном общественном дискурсе еще не утратил ощущения единства и целостности жизненного опыта. Благодаря эстетическим взглядам Канта, Шиллера и Гете среди романтиков утвердилось представление о том, что художник является субъектом свободного, неисчерпаемого творческого воображения. Последнее вырывалось из уз поэтических и моральных ограничений, характерных для прошлого, не подчиняясь при этом ни господствующему общественному вкусу, ни сиюминутным запросам современников, творя прекрасное по своим внутренним законам. Неограниченную свободу воображения поддерживало и то обстоятельство, что авторам уже не приходилось писать, следуя заданным тематическим и стилистическим моделям,

Юван Марко – научный сотрудник Института словенской литературы и литературоведческих наук, г. Любляна.

ориентируясь на конкретного заказчика, мецената или известного представителя двора, светского салона, церкви, университета, городского театра или улицы. Литературные произведения создавались в расчете на неизвестного читателя, анонимного представителя массы грамотного населения. В результате утрачивания видимых, поддающихся анализу общественных взаимосвязей литература начала самоорганизовываться в качестве самостоятельной и сложной общественной подсистемы, введившей в обиход собственные особые виды деятельности (например, издательская, национальный театр, историко-литературные исследования). Благодаря этому цепь, связующая писателя и читателя, приобрела новое качество, в нее были включены многочисленные промежуточные звенья. Писательство постепенно становилось профессией и, тем самым, оказывалось в сфере ограничительного действия стихийных законов товарообмена и капризов общественного мнения и вкуса.

Литература существовала между двумя полюсами: в духовном плане она почти заменила религию, тогда как в материальном нередко влачила жалкое существование в качестве маргинального вида деятельности, зависимого от рынка идей, эстетических и идеологических приемов. Эта двойственность положения, занимаемого искусством слова, в достаточной мере объясняет тот факт, что именно в период романтизма, впервые в истории, так выразительно и в таком количестве произведений положение этого искусства становится важнейшей темой произведений художественной литературы [1. S. 25]. Иными словами, литература периода романтизма первая в таком объеме занялась саморефлексией. Поэты не только в теоретических, программных сочинениях, каковыми являются произведения Шиллера, Вордсворта или Колриджа, но и в самих стихах, писали о личном восприятии своего статуса, профессии и процесса творчества, объясняли свое видение специфики поэтического языка и значения своих произведений, комментировали их структуру, восприятие читателем и отклики на них, пытались определиться в отношении традиционной и современной формы коммуникации, выстраивали и лелеяли собственный имидж в общественном сознании и т.д. Повышенный интерес к вопросам художественного творчества, проявившийся в многочисленных произведениях, написанных на тему поэзии, свидетельствует о том, что поэтическое творчество для поэтов-романтиков являлось главной ценностью, воплощавшей собой субъективность, чувство прекрасного и связь с трансцендентальным миром [5. S. 30–31; 38–39; 42–49]. Однако ценность поэзии отнюдь не являлась чем-то само собой разумеющимся.

Именно по этой причине в поэзии о поэзии и появляется поэтический автотематизм. Саморефлексия поэтического творчества не сводилась только к тематике, связанной с художественным творчеством, литературой и литературным бытом, но отражалась также в выборе формально-стилистического метода, который, говоря сегодняшним языком, можно было бы обозначить термином метафикция. Он показывал, что поэтическое "я" и мир связанных с ним текстов, являются лишь символами или языковыми конструкциями [6].

Саморефлексивность в романтизме становилась неотделимой чертой литературного языка именно потому, что провозглашала субъективность основой прекрасного, положительного и истинного. Уже у Шиллера в его антитезе наивной и сентиментальной поэзии, или у Шлегеля в его концепции романтической иронии как бесконечной саморефлексии можно найти свидетельства того, что независимый субъект, самоутверждающийся в поэтическом языке, не имел никакой заданной метафизической или социальной базы, но – в контексте кардинального политического, морального и эстетического переустройства Европы на рубеже XVIII и XIX вв. – должен был создать ее себе сам. Вслед за кантовским предположением "отсутствия субъекта, наличие которого могло бы быть установлено с помощью изначальной интуиции" наступил кризис субъективизма, заложившего основы возникновения романтизма [7. S. 29–32; 8. S. 6–7]. Романтизм ввел в употребление такой эстетический язык, который представлял собой сферу переживания, неподдающуюся систематическому изучению и окончательному осмыслению (по Канту искусство есть "целесообразность без

цели"), поэтому, разрывая понятийные связи, он ставил "субъект в постоянное положение *in statu nascendi*" [8. S. 6–12].

Автотематизм и саморегуляция литературы. С точки зрения теории систем Шмидта, автотематическая саморефлексия является стратегией, регулирующей структуру и содержание литературы через использование уже имеющихся в ней текстов или через создание новых. Благодаря подобной саморегуляции, литература укрепляла сферу своей компетенции, вводя в общественное сознание представление о незаменимости выполняемых ею функций, откликаясь на идейные, политические, экономические и социальные изменения. Поэты-романтики, парафразируя У. Вордсворта, с помощью своих текстов были вынуждены сами, опираясь на собственные представления о соответствующей рецепции, формировать вкус неизвестного им читателя; писатели должны были на основе собственной литературной деятельности создать новый тип авторитета, который смог бы конкурировать с создателями общественного мнения в печати и в иных сферах общественного дискурса [2. S. 23]. Романтическая поэзия с помощью авторефлексии и автотематизма пыталась привить читателям вкус к особенностям литературной эстетики, к характерному для нее исключительному, возвышенному типу коммуникации, к особому миру значений, стилей, жанров и представлений; кроме того, автотематическая поэзия создавала имидж автора, "ткала" полотно ассоциаций, которые должны были в обход известных суждений стать фоном восприятия творчества писателя [9. S. 194–195].

Таким образом, саморефлексивная поэзия – это не только метатекст, посредством языка художественного произведения представляющий взгляды писателя на собственное творчество, но и речевая стратегия, с помощью которой автор стремится придать своей деятельности дополнительную достоверность и общественную значимость.

Автотематические стихи Пушкина и Прешерна. Поэтами-современниками А.С. Пушкиным и Ф. Прешерном создано большое количество текстов на тему поэзии, поэтического языка и творчества, литературного быта, особенного отношения к традиции, к великим предшественникам и т.д. У Пушкина это: "Другу стихотворцу", "Свободы сеятель пустынный...", "Демон", "Разговор книгопродавца с поэтом", "Желание славы", "Ex ungue leonem", "Андре Шенье", "Прозаик и поэт", "Пророк", "Соловей и роза", "Арион", "Поэт", "Поэт и толпа", "Сапожник", "Деревня", "Сонет", "Поэту", "Румяный критик мой", "Труд", "Герой", "Моя родословная", "Цыгане", "Эхо", "Осень", "Он между нами жил", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный"; у Прешерна – "V spomin Valentina Vodnika", "Pevcu", "Prekop", "Neiztrohnjeno srce", "Orglar", "V spomin Matija Čopa", "Nova pisarija", "Glosa", "Zabavljivi napis", "Gazele" (1, 6, 7), "Očetov naših imenitne dela", "Kupido! ti in tvoja lepa starka", "Sonetni venec", "Ni znal molitve žlahtnič trde glave", "Sanjalo se mi je, de v svetem raji", "Bilo je, Mojzes! tebi naročeno", "Na jasnem nebi mila luna sveti", "Ne bodo šalobarde! Moskovičanov; Apel podobo na oglas postavi", "Maiju Čopu", "Vi, ki vam je ljubezni tiranija", "Mihu Kastelcu", "Izdajavcu Valkmejevih fabul", "Des Sängers Klage", "Warum sie, wert das Dichter aller Zungen", "Nichts trägt an ihm des Dichtergeists Gepräge". В этих произведениях тема поэзии часто переплетается с другим содержанием (от любовной тематики до политической сатиры) или скрывается за ним. Автотематическая поэзия Пушкина и Прешерна в жанровом и стилистическом отношении отличается разнообразием. Некоторые стихотворения приурочены к какому-нибудь событию, другие претендуют на обобщенный, "вневременной" характер, настроение одних балансирует между сатирой, иронией, пародией и юмором, другие же проникнуты элегичностью, сентиментальностью, трагикой или же пророческим пафосом; некоторые характеризуются краткостью (афоризмы, эпиграммы), другие имеют форму лирического стихотворения, сонета, сатирического диалога или баллады.

Прешерн и Пушкин не смогли избежать одного из общих мест романтической поэтической саморефлексии – противопоставления поэта и общества. В своих автотематических произведениях противопоставление искусство – общество они показывают с двух позиций: мифологизации и критики. Под мифологизацией понимается

варьирование мифологических мотивов, взятых преимущественно из античной и христианской традиции, свободное переложение мифов, аллюзии на них, а также подражание сакральной или характерной для мифа речи. Используя подобный интертекстуальный прием, поэт "возвышает" свое собственное произведение, достигая драматизации или аллегоризации, но прежде всего, сознательно ставит его выше повседневности. Мифологические мотивы, привлекаемые поэтическим "я" в качестве модели для самопредставления, благодаря своей архаике, символике и иррациональному заряду, создают впечатление чего-то иного, коренным образом отличающегося от современной речи, ее рационально-практической формы. Мифологизация и критический взгляд, приподнимают поэтический субъект над остальными видами коммуникации, принятыми в обществе и доступными "другим" ("толпе", "народу", "человеку", "черни" и т.д.). Однако сам процесс мифологизации не может укрыться от критического осмысления его субъектом, привыкшим к свержению всех и всяческих авторитетов. Критика, таким образом, превращается в самокритику. В ее свете поэт рассматривает собственное положение, осознавая неоднозначность поэтического языка, используемого им для самоартикуляции, т.е. интерпретация исключительности призвания поэта в произведениях Пушкина и Прешерна уже в соответствии с самой логикой романтического поэтического языка является комплексной и амбивалентной. В их автотематической поэзии можно встретить отражение самоуверенности и скепсиса, мании и депрессии, веры в трансцендентальный характер поэзии и понимания ее маргинальности, осознание двойственного характера художественного произведения: с одной стороны, это эстетический предмет, с другой – товар, объект купли-продажи. В их стихах присутствует утопическое представление о пророческой роли поэта и отчаяние по поводу беззаботности общества, самоуверенное ощущение принадлежности к духовной элите, к избранным и бессилие перед политическим гнетом и давлением. Различное отношение поэтов к проблематике поэтического творчества отразилось прежде всего в художественном осмыслении ими особенностей поэтического призвания на фоне господствующих в обществе законов рынка ("Разговор книгопродавца с поэтом"; "Glosa"), а также в утопической проекции самого себя как "национального поэта" ("Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", "Sonetni venec") и при создании нового метафизического обоснования поэтического призвания и поэзии ("Пророк", "Поэт"; "Pevcu", "Neiztrohjneno srce").

1. Вдохновение и деньги. Пушкин несколько раньше познал противоречие между романтическим представлением о свободе творческого "я" и требованиями, навязываемыми поэту рынком, интересами издательства, а также капризами читательского вкуса и славы. В своей саморефлексивной поэзии он раскрыл существенное различие между писанием стихов как высшим призванием (избранностью) и низменной службой (оплачиваемым трудом). В поэтической форме он сумел отразить двойственную природу художественного произведения: созданное как уникальный, возвышенный эстетический "предмет", оно, отчуждаясь от создавшего его автора, превращается в конкурентный рыночный товар.

Проблема двойственного характера поэтической профессии и плодов творчества нашла свое отражение уже в первом из опубликованных стихов Пушкина, "К другому стихотворцу" (1814). Поэт в шутивно-поучительной форме, с аллюзиями на мифологический аппарат классицизма, уговаривает друга отказаться от поэтических амбиций: труд поэта – утомительное дело, вечная борьба за то, чтобы быть узанным, соревнование с традицией великих авторов. Кроме того, поэт, даже если и прославится, всегда будет для общества "маргиналом"; он зависит от печати и "дистрибуции" художественных произведений: "Поэтов хвалят все, питают – лишь журналы". Приводимые им биографические данные из жизни классиков, лишь подтверждают тезис о плохом материальном положении художника. Почти аналогичный образ: "Счастье всех певцов обманет – у поэтов денег нету" позже создает в стихотворениях "Glosa", "Nova pisarija", "Zabavljive napise", Прешерн. У Прешерна так же, как и у Пушкина, в качестве примера нищенского существования поэтов приводится судьба Камозенса,

оба пользуются образом Фортуны (символом изменчивого счастья поэтов), оба соразмеряют ценность поэтического труда с понятием денег (выражением меновой ценности), противопоставляя бедности поэта символы богатства (золото, дворцы, замки).

Пушкин, в отличие от Прешерна, считает также нужным упомянуть проблему преходящей славы поэта ("гремяща слава – сон"), что не случайно – слава сопутствовала поэту на протяжении всей его жизни. Пример Байрона – Пушкин упоминает его в "Разговоре книгопродавца с поэтом" – свидетельствует о том, что слава как раз в XIX в. начинала принимать характерную форму имиджа писателя. Создавалась же она, как и разрушалась, в первую очередь, общественным мнением, а также с помощью критики, слухов, досужих разговоров по поводу различных проявлений личности писателя (скандальных, чудаческих, крайне индивидуалистических) и совершаемых им поступков, кроме того, конечно, славу формировали произведения поэта на литературном рынке. Образ писателя, принятый в обществе, создавался силами издателей, расположением к нему светского общества, критиков и журналистов, а также им самим. В сатирическом диалоге "Разговор книгопродавца с поэтом" Пушкин еще более углубился в рассмотрение проблемы "материального существования в обществе" (своей) поэзии. В нем противопоставляются ценностные категории, характерные для различных периодов творчества поэта, дан контраст между гармонией, царящей в природе и вечно алчущей людской толпой, между возвышенным поэтическим вдохновением и "торжищем" ("И музы сладостных даров / не унижал постыдным торгом"), между ни к чему не обязывающей, приятной праздностью и тяжким писательским трудом, одинокой анонимностью и доступностью для внимания общественности, субъективной реальностью и славой, граничащей, порой, с непристойностью. Внимание Пушкина сосредоточено, главным образом, на критике книгоиздательства как одной из решающих сторон деятельности литературы. Идеалистические, полные ностальгии размышления Поэта со свойственной романтизму иронией противопоставлены "внешней" перспективе – экономическому "реализму" современного издателя (Книгопродавца). Благодаря этому персонажу в поэтическом языке Пушкина появляется подобие карикатуры на циничный стиль размышлений, казавшийся поэту типичным для представителей книжной дистрибуции. Издатели, руководствуясь собственными экономическими интересами, изначально расценивали плоды писательских трудов как рыночный товар, заранее подсчитывая связанные с ним расходы и предполагаемые барыши. Подобного рода расчет и разоблачает Пушкин в образе Книгопродавца, уговаривающего Поэта продать ему свежую рукопись, зная о популярности его произведений в читательской среде ("...и признаюсь – от вашей лиры / предвижу много я добра"). Противоречие между прагматизмом Книгопродавца и вдохновением Поэта порождает в этом стихотворении комизм от столкновения двух стилей, двух языков: художественного и экономико-финансового. Бурлескное столкновение возвышенного и будничного наиболее ярко проявляется в особенностях рифмы: "...плод новый *умственных затей...* – Назначьте сами *цену ей, Стишки* любимца *муз и граций...* – и в пук *наличных ассигнаций* / листочки ваши обратим" (курсив мой. – М.Ю.). Пушкин позволяет Поэту согласиться с аргументами Книгопродавца в пользу продажи новой рукописи, подчинившись, таким образом, цинизму "экономической" логики ("не продается вдохновенье, / но можно рукопись продать"). Таким образом, пушкинская поэтическая саморефлексия окрашивается романтической иронией, разрушающей преграду между абсолютным миром художественных ценностей и рыночной стоимостью произведения искусства, относительными становятся и собственные представления поэта о трансцендентальном характере художественного слова.

В стихотворении Прешерна "Глосса"¹ находит отражение практически та же самая проблематика, взаимоотношение между искусством и обществом, в котором послед-

¹ Анализ стихотворений Прешерна дается по изданию "Poezije" (1847).

нее слово всегда остается за капиталом. Однако "Глоссе" чужда пушкинская романтическая ирония и самоирония. Прешерн достаточно ясно проводит границу между сатирическим, местами даже намеренно грубоватым языком, которым написано стихотворение, критикующее неуважительное отношение к искусству его соотечественников, "крайнецв", и возвышенным языком последнего четверостишия – апологией поэтического творчества. В "Глоссе" приводится целый ряд примеров, иллюстрирующих мысль о том, что сам характер поэтического творчества толкает поэта на периферию общественной жизни, в среду маргиналов. Аллюзии на биографии великих классиков мировой литературы, живших в нищете, а порой и в политическом изгнании (от Гомера до Сервантеса и Тассо) ассоциируются в стихотворении с биографией самого Прешерна и придают его собственному жизненному опыту универсальный характер. Поэт извне, из общественной перспективы, кажется слепцом в его отношении к действительности, но из художественной перспективы он способен видеть то, что другим недоступно: "небесные замки бесконечной свободы".

Накапливая аллюзии с неисчерпаемыми сокровищниками смысла, хранимые памятью культуры, Прешерн создает скрытую за этой цитатностью эстетико-языковую альтернативу реальному накопительству денежного капитала: "Кучу денег загребайте, / и поместья наживайте". Перечисляя великих авторов мировой литературы, поэт аккумулирует культурный капитал, метонимически обозначенный "валютой" их имен. Его ссылки на великих мировой литературы способствуют созданию и укреплению определенного литературного канона, формировавшегося на переходе к XIX в. и в период романтизма. Авторитет поэта и общественный вес художественного слова ближе к середине века получали все большую поддержку благодаря деятельности классиков, т.е. благодаря формированию литературной традиции. Литературная классика, мировая или национальная, становилась своего рода компенсацией грубости экономического капитала, материалом, который для пропаганды универсализма и автономности культуры использовала культурная или литературная элита, сталкиваясь с прагматизмом общественной среды.

Отдаленность двух миров – художественно-языкового и общественно-экономического в "Глоссе" Прешерна кажется очевиднее, чем в более элегантном пушкинском "Разговоре книгопродавца с поэтом". Апология, данная в заключении к "Глоссе", является антитезой сатирического диагноза взаимоотношений, в которые вступала литература круга Прешерна в первой трети XIX в. Пользуясь метафорической силой поэтического языка, Прешерн берется рассуждать о принятых в обществе символах материального "могущества", создаваемого на основе товарообмена. С помощью тропов он превращает их в образы субъективной свободы, красоты и естественности. Настоящие ценности, субъектом которых является поэт как личность, подвластны лишь языку символов, которым, в отличие от всех остальных видов общественно-культурной практики, пользуется только литература. Автор может продемонстрировать посвященному читателю как метафора – важнейшее художественное средство поэзии – может сделать сопоставимыми в ценностном плане небо и замок, ясную зорю и золото, покрытую росой траву и серебро: "Разве вы не замечали, / что над всем над белым светом / замок высится поэта, серебром горит роса там, / и сияют зори золотом, и живет поэт богатым, хоть и денег вовсе нету!" (перевод Л. Мартынова). Оставаясь маргинальной фигурой в общественной жизни, поэт, однако, продолжает настаивать на первостепенной ценности личной свободы, исключительности, спонтанности вдохновения и независимости поэтического творчества. Эта черта характерна для романтического "экспрессивного" индивидуализма. Последний является надстройкой "утилитарного" или "качественного" индивидуализма. Философы Просвещения, рассуждая на темы морали и политики практически любого человека как носителя прав, свобод и морали, считали индивидуумом, существовавшим, согласно духу универсализма "естественного права", среди себе подобных и равных личностей (граждан). Предромантики и романтики пытались навязать личности дополнительную

(экспрессивную, качественную) индивидуальность, которая бы его отличала от других индивидуумов [10. S. 3–4].

2. Поэт и народ. В романтизме утвердилось двойственное отношение писателя к человечеству, к "народу", к конструкции коллективного субъекта, который в XIX в. параллельно с личностью политически индивидуализировался. Колебания между острой критикой действительного положения вещей и жертвенной любовью к народу, пропитанной идеализированными представлениями о нем, существовавшие в среде гуманитарной интеллигенции, до сих пор имеют место как в России, так и в Словении. Пушкин и Прешерн, с одной стороны, высмеивали "чернь", "бестолковый народ", "butice neukretne", "Kranjce", "kozarje" именно из-за их неспособности воспринимать поэзию как таковую. С другой стороны, они рассматривали положение с учетом более широкого, историко-эсхатологического контекста, на фоне которого образ "народа" находил свое выражение на духовном уровне, воспринимая эстетическое и этическое влияние поэзии и поэта. Однако смысл собственной значимости поэты подчеркнуто противопоставляли авторитету политической силы.

Литературное "мессианство" Пушкина и Прешерна нашло отражение также в стихотворениях о поэзии, написанных в середине 1830-х годов. Прешерн как поэт, выступающий в роли спасителя (в христианском понимании этого слова) словенцев скрывается за романтической версией мифа об Орфее (седьмой сонет "Венка сонетов"), Пушкин же каноническое видение смысла духовного творчества раскрывает прямо и самоуверенно в интертекстуальной вариации на оду Горация "Ehægi monumentum" – в стихотворении "Я памятник себе воздвиг нерукотворный".

"Венок сонетов" начинается со смысловой параллели: петрарковское служение "даме" и служение поэта словенцам – венки славы для избранницы и для своего народа. Здесь Прешерн представляет картины общественной жизни не синхронно, критически и "социологически", но в исторической перспективе, рисуя их в мрачных тонах. Историческая мысль, сформировавшаяся в начале XIX в. среди протагонистов национальных движений, художников, филологов и историков, представляя события неясного, "мультикультурного" прошлого, с целью связать события в единое повествование, структурировала их, рассматривая через призму идеи преемственности связей той этнической или языковой общности, которую рассказчик, следуя личным интересам или благодаря собственной этнической принадлежности, видел как культурно-языковое единое целое, существовавшее в рамках одного региона. Лишь такой образец повествования способен был окончательно сформировать у читателя представление о собственной национальной идентичности.

Прешерн дает свою интерпретацию причин отставания национального культурного развития. Причины эти называются и интерпретируются им в элегическом повествовании о трагической политической судьбе своего народа (6–8 сонеты). Ключевым моментом для понимания поэтом национальной трагедии становится утрата словенцами государственной самостоятельности и последовавшие за этим столетия рабства, безнадежных восстаний и внутренних споров (восьмой сонет). Такое прошлое было способно породить лишь весьма скромную литературу. Свое *поэтическое* самосознание Прешерн выводит из своей национальной принадлежности, вплетая в повествование также и автобиографическую любовную мелодраму. Тревожная, мрачная фреска национального прошлого и настоящего словенцев присутствует в сонетах как негативный фон, на котором Прешерн формулирует свою утопическую альтернативу политического формирования народа.

В седьмом и восьмом сонетах роль спасителя, "национального поэта" Прешерн доверяет мифологическому певцу Орфею. Заимствуя мотив об Орфее – уже в средние века Орфей выступал в качестве одной из ипостасей Спасителя – Прешерн уподобляет веру той непостижимой силе, которую несет в себе поэзия. По существующей в литературе орфеевской традиции (Шиллер, Новалис, Хелдерлин, и де Нерваль) полубожественное пение вдохновенного и несчастного певца обладало силой, способной "очеловечивать" грубую природу, облагораживать варваров и, наконец, поберж-

дать саму смерть. Прешерн переносит структуру топоса Орфея на современные обстоятельства. Орфей, по замыслу поэта, мог бы выступить Спасителем, ниспосланным массе страждущих, рассоренных между собой, несознательных людей (здесь возникают знакомые аналогии с библейским Израилем и ожиданием Мессии); благодаря силе песен, написанных на родном языке, отечественный Орфей мог бы примирить, пробудить, воспитать и воссоединить словенцев ("...in spet zedinil rod Slovenš'ne cele").

Благодаря мифу об Орфее в европейской художественной традиции, в особенности в автотематической поэзии, появляется также тема возрождения: прекрасная поэзия способна победить смерть, подобно тому, как Орфей сумел на время вызволить из преисподней умершую Эвридику. Прешерн реализует данное значение, придавая ему новое, не эротическое, а национально-политическое звучание: созданная поэтом картина словенской истории овеяна лишь смертью и молчанием, место Эвридики занимает умерший в 658 г. вождь славянского родоплеменного государства Само, над чьей могилой веют ветры забвения: "Tvoj duh je zginil, kar nad tvojo jarmo / pozabljeno od vplukov veter brije". Желание Прешерна видеть себя в качестве спасителя и будителя народа в орфеевском духе, народа, в историческом смысле уже когда-то умершего, раскрывает девятый сонет. Здесь лексика, связанная в седьмом сонете с мифологическим образом Орфея, в восьмом – с кратким образом словенской истории, почти дословно повторяется, но уже по отношению к лирическому герою, и звучит от первого лица.

Таким образом, предпосылки для формирования мифа о "национальном поэте" Прешерн создает сам, с помощью типичной для романтизма мифологизации, представленной в рамках престижной автотематической поэзии. Образ Прешерна как национального поэта – мессии, созданный в "Венке сонетов", поэта, чье имя может по достоинству занять место рядом с величайшими именами европейского литературного канона, ввел в употребление критик Й. Стритар. Его статья о поэте, написанная для переиздания сборника "Поэзии", первой книги серии "Колосья" (1866), задуманной как антология классической национальной литературы, сделала из Прешерна величайшего словенского поэта, присвоив ему образ Спасителя, жреца непреходящей Красоты, посредника между божеством и человеком, мученика, принесшего в жертву свою собственную жизнь, и, тем самым, заложившего поэтический фундамент движения национального возрождения [11. S. 7–46]. Этот же феномен критик Д. Пирьевец, анализируя статью Стритара, обозначил как "прешерновская структура", имея в виду распространенное в середине XIX в. представление о поэтах, вместо политиков дающих стимул для роста национального движения [12. S. 36–3; 35–80].

Со всем этим вполне сопоставима роль Пушкина как ведущего российского поэта. Так же как Прешерн, он заложил фундамент памятника "национальному поэту", который ему позднее воздвигли в русской культуре. Для стихотворения "Я памятник себе воздвиг нерукотворный" (1836) он выбирает ведущий жанр русского классицизма – оду. Ода, с точки зрения романтизма, уже сама по себе стала "памятником", нуждающимся в основательном обновлении. Несмотря на то, к жанрам классицизма Пушкин относился пародийно-иронически, во многом приблизив свой поэтический код прозе и реализму, незадолго до смерти он не только вернулся к жанру оды, но и приумножил поэтику классицизма, обратившись к традиции *imitatio veterum*.

Ода Горация "Ehægi monumentum", послужившая основой для стихотворения Пушкина, в русской классической литературе уже была известна по Державинской имитации и парафразе Ломоносова. Как отмечает в своем исследовании Р. Лахманн, пушкинский вариант отличается от версий предшественников более выразительным диалогом с латинским оригиналом: наличием достаточно верной имитации структурирования темы, композиции, внешней формы, даже некоторых дословных формулировок, как у Горация [13. S. 195–223]. В первых двух четверостишиях и у Горация, и Пушкина дается противопоставление реальных памятников, которые закладывают в свою честь власть предрежащие, и "невещественным" памятникам, воздвигаемым

поэзией. Обоим поэтам одинаково присуща вера в то, что важнейшая часть их существования – их стихи – переживут создателя, удостоив его славой в последующих поколениях. Однако вневременной топос, присущий оригиналу Горация, у Пушкина приобретает конкретный, историко-политический характер.

Значение и силу своей поэзии Пушкин противопоставляет авторитету царской власти. Пушкинская уверенная самомифологизация, возвеличивание себя как идеала поэтов, глашатая свободы и кумира народов, населяющих Российскую империю, фактически является попыткой "самоуспокоения", реакцией на постоянно испытываемые им раздражение и ярость по отношению к абсолютизму (к цензуре, полицейскому надзору, изгнанию, унижительной материальной зависимости от двора, преследованиям царем его жены, вечным колебаниям общественного мнения и т.д.). Пушкин приводит иные, чем Гораций, аргументы возведения своего "нерукотворного памятника". Аргументы эти базируются не на личных, внутритропических причинах, но на духовном, этическом и политическом влиянии собственного поэтического творчества, распространяющегося и на отдаленное воображаемое будущее: "И славен буду я, доколь в подлунном мире / жив будет хоть один пиит".

Пушкин создает гимн собственной каноничности, мечтает о положении классика, которого он – вопреки случайностям хулы или хвалы современников – добьется поэтическим трудом. Воображаемый образ общественного признания, который у Пушкина выходит за рамки общества, стоит выше исторических событий и царской власти, исходит исключительно из силы поэтического слова. Именно эта сила для Пушкина (и для Прешерна) лежит в основе не только национально-поэтической традиции, но и в сфере политических ценностей (прежде всего, свободы), призванных объединить и связать воедино все пространства "Руси великой".

3. Поэт и трансцендентальность. Многие историки романтизма (Рид, Франк, Бюргер и др.) доказали, что романтическая поэзия на пороге нового времени пыталась взять на себя роль новой мифологии, замещающей религию. В результате "снятия колдовских чар" – утраты мистического, иррационального объяснения мира – расшатанными оказались идейные системы и общественные институты, прежде обеспечивавшие метафизическую "уверенность" субъекта. Хотя искусство слова в этот период и стало независимым, преобразовавшись в "царство прекрасного", в действительности же его влияния на общественную жизнь на фоне глубокого кризиса метафизического мышления было весьма незначительным, несмотря на многочисленные попытки доказать его исключительную общественную роль. Освобожденное сознание, расшатавшее фундамент существовавших ранее представлений, оказалось, по словам Шеллинга, "предоставленным самому себе", лишилось собственной почвы (цит. по: [4. S. 22–23]). Возникла ситуация, когда впервые в истории в сознании людей начало активно укрепляться понятие нигилизма, в мировоззренческом плане представлявшее собой одновременно титаническое богоборчество и попытку возврата к религии [14. S. 49–77]. Нигилизм подталкивал к поискам новых, надежных основ современного духа.

Взгляд свободного, по крайне беспокойного в своем нигилизме субъекта обратился, в частности, к мифологии, и при этом не только к оживлению архаичных, античных и средневековых представлений, но также и к созданию "новой мифологии". Ее носительницей должна была стать поэзия, по Шеллингу, – "учительница человечества", а ее священнослужителями – поэты. Поэзия должна была создать углубленную картину мира, открыть истины, недоступные разуму. Мифологизация поэтического творчества, в программно-понятийном смысле артикулированная женской романтической школой, нашла выражение в некоторых автотематических стихотворениях Пушкина и Прешерна.

Пушкинский "Пророк" (1828), – одно из наиболее драматических стихотворений о поэзии. Повествование здесь имеет характер мифа, содержащего аллгорию на положение современного "я", томимого "духовной жаждою", приведшей его в "мрачную пустыню" кризиса метафизики, и рассказывающего о его преобрщении в надлично-

стный субъект Поэзии. Поэт изображает явление епифании – вторжения трансцендентального духа (Бога) во внутренний мир субъекта в кризисный для него момент: Бог просветляет человека, открывая его духу неограниченные пространства бытия. Пушкинское преобразование поэзии посредством мифологизации в аналогии христианского распространения "слова и воли божьей" является интертекстуальным. Поэзия как "новая мифология" не является у Пушкина неким "новообразованием", плодом воображения, как ее представлял в своей программе Шлегель, но возникает – как у Новалиса, Хелдерлина, Байрона, Шелли, Китса и многих других поэтов – как субъективное цитирование, современное переложение античного и христианского наследия. В "Пророке" свободному варьированию подвергается библейский сюжет из "Книги пророков", в котором Бог призывает Исайю стать пророком. Используемые в стихотворении Пушкина мотивы и образы оказываются на грани гротескной демоничности. Библейский мотив божественного выбора орудием воли божьей – пророка простого грешника у Пушкина рассматривается с точки зрения субъекта, живущего в начале XIX в., в мире, лишенном иррациональности. Стихотворение написано от первого лица, от имени лирического героя: шестикрылый серафим является заблудившемуся в мрачной пустыне поэту, томимому духовной жаждой, и "открывает ему глаза и уши", одаривая способностью восприятия знания, недоступного простому смертному. В этом трансцендентальном знании – не упоминающемся в Библии – перед поэтом раскрывается вся сущность творения. Серафим приобщает пустытника, заблудшего поэта, к восприятию космоса в его божественно-диаболическом единстве. Инициация в начале выглядит достаточно безобидной: с помощью легкого прикосновения серафима ("перстами легкими как сон") поэту передается чудесная способность пророческого видения. Однако "сублимированные" картины посвящения в дальнейшем превращаются в гротескное изображение страшных мук, которые должен вынести поэт ради обладания божественным даром. Серафим грубо лишает поэта основных атрибутов человеческого в нем: вырывает сердце и язык, т.е. именно те органы, которые символизируют собой все несовершенное, грешное, но неизменно присущее человеку, а значит и социуму. Отныне поэту заменяют сердце и язык два предмета – один сакральный, другой, являющийся принадлежностью дьявольского начала: в отверстую грудь поэта серафим вкладывает горящие угли (в "Книге пророков" ангел очищает грешные уста Исайи с помощью горящих углей, взятых с алтаря), а в уста – жало змеи (этого история Исайи не упоминает).

Гротескно-насильственное "привнесение" различных по своей ценностной сущности "чуждых объектов" в поэтическую плоть свидетельствует о том, что несмотря на мифологизацию, пушкинская оценка поэзии, продолжает оставаться критической и двойственной. Сила влияния поэзии на общество имеет в своей природе нечто сверхчеловеческое, неорганичное, нечто не только от Бога, но и от дьявола, нечто по-змеиную соблазнительное [15]. Посвящение в поэты связано со страданием лирического героя, оно калечит его. Связь уродства и поэтической силы кажется мистической и известна уже, начиная со слепого Гомера.

Преображение лирического героя в поэта-пророка обретает окончательный свой смысл, когда раздается глас божий, пробуждающий трансформированного пророка из мертвых. Глас Божий налагает на героя посланническую миссию, типичное для романтического самовосприятия представление о поэте как духовном – этическом и политическом – народном вожде. "Пророку" вменяется в обязанность служение воле Бога и вдохновенная проповедь силой божественного слова: "...глаголом жги сердца людей". Вмешательство гласа Божьего в конце "Пророка", заменяющего речь лирического героя от первого лица, легитимирует трансцендентальность общественной и метафизической миссии поэзии, поскольку Бог – согласно духу "новой мифологии" – слагает с себя свои "компетенции" в пользу поэзии. Таким образом, именно поэзия как пророк во мраке метафизического нигилизма несет с собой "трансцендентальный жар смысла".

По существовавшей практике субъективного, свободного обращения с символикой античной и христианской мифологии в создании романтической "религии искусства", Пушкин пользуется образцами греческой мифологии, чтобы показать свое видение предназначения поэта: оно состоит в постижении трансцендентального духа во всей его целостности и свидетельствовании о нем. В стихотворении "Поэт" (1827) противопоставляются "малодушие поэта" как "ничтожного сына мира", погрязшего в "заботах суетного света", до тех пор, пока молчит его "святая лира" – и внезапный творческий порыв вдохновения, влекущий его к жертвенному служению искусству. Слово Божье ("божественный глагол"), призывающий поэта к "священной жертве", исходит при этом от Аполлона, бога искусства. И здесь поэтическое "я", так же, как в "Пророке", переживает трансформацию под влиянием трансцендентальной силы. Воскрешение души поэта, скованной до поры "хладным сном", представлено в духе идей античной традиции, согласно которым творческий экстаз и поэтическое вдохновение считались своего рода одержимостью, манией, сама поэзия – законной наследницей священных обрядов, а творческое вдохновение – единственным отражением глубинной сущности вещей.

В поэзии Прешерна не найти столь непосредственного выражения романтической мифологии поэтического творчества, хоть идеи, подобные пушкинским, находят свое отражение в некоторых его произведениях. Мифологические и религиозные коннотации поэтического творчества нашли наиболее яркое выражение в актуализации топоса Орфея в "Венке сонетов".

Стихотворение Прешерна "Поэту" ("Pevcu", 1838) в отличие от пушкинского "Пророка" целиком проникнуто осознанием метафизического кризиса. В этом стихотворении Прешерн в сжатой форме описывает боль существования, подобно казненному Прометею, "прикованному цепями" сумрака метафизики, "душевной тьмы" ("poč tёмna..., ki táge duhá"), коршун нигилизма "все дни напролет" клюет сердце, наполняя его своей "пустотой", "скорбью", безнадежностью. Пушкинскому поэту божественное прикосновение открывает ад и небеса, однако страдание, через которое он должен пройти на пути превращения в субъект поэзии, у Пушкина компенсируется обретением дара божественной речи, в то время как лирический герой Прешерна, пребывающий во мраке ночи, лишен духовной опоры, дающей ему уверенность. Это отсутствие уверенности выражено в типе высказываний, используемых в стихотворении. Лирический герой Прешерна лишь риторически вопрошает: "Kdo zna...", "Kdo vé...", "Kdo učí..." – ответов же на подобные вопросы нет, да и быть не может. Голос, способный отозваться на поставленные поэтом вопросы, но не отвечающий на них, в стихотворении Прешерна не имеет определенного источника, его речь больше походит на обращение к самому себе, на внутренний диалог, рефлексивно пытающийся проникнуть в существо экзистенции. Поэт оказывается в замкнутом кругу духовных и душевных мук. Именно это мучение, страдание (пафос) оказывается главным в стихотворении "Поэту". Страдание, порожденное переживаемым на почве нигилистического мировосприятия экзистенциальным кризисом, в последних двух коротких строках, как бы исходящих от внутреннего голоса поэта, получает значение категорического императива, определения смысла миссии "поэта", а точнее, поэтического признания.

Будь рад /

поэт, песнопенью, – пусть думы томят, /
пусть носишь ты в сердце то небо, то ад! /

Пойми /

признание поэта – и муку прими. (перевод С. Шервинского)

Однако и здесь фоном является мифологизация. В этом стихотворении коршун, выклевающий сердце ("Kragúl..., ki kluje srcé"), – несколько приукрашенная аллюзия на мифологического орла, который клюет печень Прометея. Образ полубога, жестоко наказанного за неуважение к авторитету богов, посмевшего вопреки их

воле отдать огонь Людям, стал образцом для формирования образа поэта, уже начиная с эпохи Просвещения и предромантизма (Виланд, Гете, Шелли, Байрон и т.д.); поэты черпали из прометеевского архетипа как картины титанического, вольнолюбивого протеста против мракобесия и властей, так и материал для создания образа поэта как носителя культуры, прогресса и стремления к автономии духа и воображения. Осмысление Прешерна страдания как одной из сторон поэтического призвания, а также призыв смириться с существованием "пустоты" между небесами и землей, своим происхождением обязаны тому же самому скрытому подтексту. Поэтическое творчество как профессия и призвание требует от поэта не только готовности принять страдание, но и оправдывает его. Таким образом, у Прешерна сама поэзия выступает в роли "новой мифологии", замещающей утраченный в жизни фундамент бытия.

Баллада Прешерна "Нетленное сердце" ("Neiztrohnpjeno srce", 1847) продолжает традицию легенд и агиографий с элементами чудесного. Мотив, связанный с гробовщиками, из старой могилы выкопавшими нетленное тело красавца-юноши и с потрясением взирающими на его живое, бьющееся сердце, интересен как попытка традиционного, агиографического объяснения гробовщиками увиденного чуда: "Кого ж они отрыли среди брошенных могил? / Святым он был, наверно: за столько лет не сгнил!" (перевод В. Корчагина). Однако оказывается, что в могиле покоился поэт, а не святой. Несчастливая любовь поэта – существенный момент при создании образа разочарованного и отчаявшегося романтического героя – является антитезой традиционному фону агиографий, поскольку автор выводит провокационное тождество между чудесной святостью святых и не святым чудом поэтической, безбожной жизни. Это тождество и является основой эстетического мифологизирования. Сердце в стихотворении Прешерна – не затертая метафора, а чудесный, нетленный орган, остающийся символом субъекта, ведь поэт "реализует" слово, делая его элементом описываемой системы действительности. "Нетленное сердце", принадлежит поэту, поэтому его содержанием, "наполнением" является поэзия. Песни, "навечно оставшиеся в сердце взаперти", вот то, что "спасло поэта от гниения". Песни не случайно названы поэтом "вечными", источников их питающих, два: один из них известен уже из ранней поэзии Прешерна – это "любовные раны", второй – не совсем обычный для Прешерна – природа и космос ("звезды, месяц, солнышко, и ветер, и роса"), вдохновившие "поэтические мечты". Понятие вечности по отношению к стихам в "Нетленном сердце" не имеет ничего общего с вечностью посмертной славы Горация, ее следует понимать в метафизическом смысле: поэзия, имеющая своим источником космос, а содержанием – чувства и мечты, выходит как за рамки биографического времени, так и за рамки конвенций цивилизации, для нее не существуют границы тела и индивидуального существования поэта. Стихи "живут" в субъекте, требуя своего выражения.

Несчастливая судьба поэта и распадение его праха – события, принадлежащие линейному времени, определяемому действительным миром – в цивилизационном и индивидуально-экзистенциальном смысле. Ритмическое сокращение нетленного сердца как вместилища "вечных песен" свидетельствуют о чудесной природе поэтического субъекта. Именно благодаря поэзии он участвует в круговороте мифологического времени, а тем самым и во внеисторическом движении, которое существует в космосе и в природе. Поэт является включенным в вечный круг жизни, в котором стираются границы между материей и духом, природой и культурой, телом и идеей; энергией, разрывающей эти границы является энергия любовного чувства. Сердце, живущее и после телесной смерти поэта, гробовщики в финале прокалывают, чтобы высвободить из него невысказанное поэтическое содержание вместе с подавленным эротическим желанием. Так, природе возвращаются "вечные песни", когда-то почерпнутые из нее поэтом, после чего сердце распадается, исчезая вместе со своим содержанием "как белый вешний снег" – т.е., естественным для природы путем – в вечном круговороте времен года. Подобный конец баллады кажется элегическим,

возможно даже нигилистическим. Тело поэта распадается в прах, "вечные" же песни, из-за несчастной любви оказавшиеся "запертыми" в его сердце, навсегда исчезают, так и не дойдя до его "надменной, нелюбезной возлюбленной" или до кого бы то ни было еще. Однако именно в последнем четверостишии баллады субъективистская метафизика поэзии у Прешерна достигает наиболее убедительного уровня сублимации. "Нетленное сердце" Прешерна уже из-за своего "естественного мистицизма" [14. S. 162–175] могло бы с полным правом считаться поэтической реализацией идеи романтической "новой мифологии". В этой поздней балладе поэзия и любовные чувства показаны как ценности, являющиеся в социально-историческом или цивилизационном смысле маргинальными (надгробный памятник поэту запущен и забыт), зато они пребывают в полном соответствии с метафизикой природы и напрямую связаны с космосом.

Вместо заключения. Продолжая исследование, было бы целесообразным проанализировать также другие стихотворения Пушкина и Прешерна, посвященные поэзии, более глубоко изучая при этом связанный с ними более широкий исторический и культурный контексты. Но уже на основании проведенного сравнительно-тематического анализа есть все основания утверждать, что обоих поэтов в их взглядах на поэзию связывает целый комплекс сходных понятийных аспектов и семантических оппозиций и что поэты, несмотря на существующие между ними значительные личностные, эстетические, языковые, стилистические, политические и другие различия, черпали практически из одного и того же источника идей, представлений, языковых и образно-поэтических средств: оба показывали читателю существующую разницу между искусством слова и жанрами практической коммуникации, оба откликнулись на парадоксальность сочетания маргинального положения поэзии и общественного и национального авторитета поэтического творчества, оба истинным источником поэзии считали ее субъект, при этом, обоснование субъекта им виделось в псевдометафизическом плане; оба к раскрытию упомянутой тематики подходили критически (пользуясь сатирой, иронией) и с помощью мифологизации. Все это дает право предполагать, что было бы правильным рассматривать романтизм в европейских литературах XIX в. не как просто "дух времени", а как специфическую, историческую формацию, т.е., как поток представлений, значений, форм, из которого писатели черпали знаковый материал для создания собственного художественного субъекта, поток, в который их собственные тексты вносили новые черты. Литературная и художественная речь при этом являлась неразрывно связанной с другими формами общественной коммуникации и другими видами общественной практики. Именно поэтому саморефлексия для романтического дискурса была столь существенной. Благодаря выраженной саморефлексии, ставившей литературу в оппозицию по отношению к другим видам коммуникации, она "сама", в сознании авторов и других участников литературной системы, пыталась определить свои границы, внутри которых ее существование являлось бы целесообразным. Сами литераторы также стремились обеспечить поэтическому творчеству более весомую роль в обществе, поэтому в авторематических стихотворениях и программных текстах они и создали "религию искусства". С помощью создателей литературного канона, они достигли в этом успеха, поскольку "романтическая идеология" как поклонение национальным поэтам и литературе – парадигме общественных ценностей – серьезный кризис пережила лишь в конце XX в.

Перевод Т. Комаровой, Н. Стариковой

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Schmidt S.J. Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18., Frankfurt na Majni. 1989.
2. Riede D.G. Oracles and hierophants: Constructions of romantic authority. Ithaca in London, 1991.
3. Bürger P. Über den Umgang mit den andern der Vernunft. Mythos und Moderne. Ur. K. H. Bohrer. Frankfurt na Majni, 1983.

4. *Frank M.* Die Dichtung als "Neue Mythologie" // Mythos und Moderne / Ur. K. H. Bohrer. Frankfurt na Majni, 1983.
5. *Welck R.* The concepts of criticism. London, 1963. C. 196–197, 221; *Kos J.* Romantika. Ljubljana, 1980.
6. *Rajan T.* Dark interpreter: The discourse of romanticism. Ithaca in London, 1986. S. 20–25; *O'Neill M.* Romanticism and the selfconscious poem. Oxford, 1997. S. 6.
7. *Lacoue-Labarthe Ph., Nancy J.L.* The literary absolute: The theory of literature in German romanticism. Albany, 1988.
8. *Malpas S.* In what sense 'communis'? Kantian aesthetics and romantic ideology // Romanticism on the net 17 (february 2000). 13 X 2000. (<http://users.ox.ac.uk/~scat0385/17kant.html>)
9. *Juvan M.* (Parodični) soneti o sonetih: samokrmiljenje žanra od romantike do postmodernizma // *Vezi besedila*. Ljubljana, 2000.
10. *Izenberg G.N.* Impossible individuality: Romanticism, revolution, and the origins of modern selfhood, 1787–1802. Princeton, 1992.
11. *Stritar J.* Prešeren. Zbrano delo 6 / Ur. F. Koblar. Ljubljana, 1966.
12. *Pirjevec D.* Vprašanje o poeziji. Vprašanje naroda. Maribor, 1978.
13. *Lachmann R.* Imitation und Intertextualität: Drei russische Versionen von Horaz' "Exegi monumentum". *Poetica* 19/3-4, 1978.
14. *Schenk G.H.* The mind of the European romantics: An essay in cultural history. Oxford, 1979.
15. *Гаспаров Б.М.* Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. С.-Пб., 1999.



© 2002 г. А.Е. ЕВСТРАТОВА

МАКЕДОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОБЩЕЮГОСЛАВСКИХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЯХ 1950–1960-х ГОДОВ

Вторая половина 50-х – первая половина 60-х годов стали переходным периодом в развитии македонской литературы. В этом отношении она развивалась в общеюгославском русле. И в Македонии, как и во всей Югославии, стали актуальны художественные поиски и отход от характеризовавшего предшествующий период "эстетического монизма" (В. Смилевский), под которым подразумевались социалистический реализм и сильное влияние идеологического компонента, причем последний оставался существенным и в развернувшихся в 1950–1960-е годы дискуссиях. Безусловно, перед македонской литературой стояли особые задачи, объяснявшиеся своеобразием процесса ее развития: не будем забывать, что македонский язык был кодифицирован только в 1945 г., а первый сборник рассказов появился в 1947 г. ("Расстрел" ["Расстрел"] Й. Бошковского), первая повесть – в 1950 г. ("Улица" ["Улица"] С. Яневского), первый роман – в 1952 г. ("Село за семью ясенями" ["Село зад седумте јасени"] С. Яневского). Однако, несмотря на неравномерность развития национальных литератур Югославии, македонские писатели и критики не были изолированы от тенденций, наметившихся в других республиках. Молодая литература, стоявшая перед выбором пути своего развития, включилась в общеюгославскую полемику 50–60-х годов, центром которой был вопрос обновления художественных средств. Выходившие в Белграде с 1955 г. и являвшиеся, по сути, общеюгославскими журналы "Дело" и "Современник" активно привлекали к сотрудничеству македонских критиков: Д. Митрева, Д. Солева, В. Урошевича, М. Гюрчинова, Т. Момировского и др. Их мнение по таким ключевым вопросам, как соотношение реализма и модернизма, объективность и субъективность в литературе, ее общественная роль, было важно для широкого круга югославских читателей, к нему прислушивались. В то же время югославские критики находили в статьях коллег-македонцев подтверждение своих позиций. Можно сказать, что результаты участия ведущих македонских критиков в журналах "Дело" и "Современник" в сконцентрированном виде отразили ход литературной полемики в Македонии 50–60-х годов, ее общеюгославские черты и ее своеобразие. Остановимся в этой статье на вопросе, не получившем – ни в македонском, ни в югославском литературоведении – достаточного освещения.

Евстратова Анна Евгеньевна – аспирантка Института славяноведения РАН.

Каждый из двух ведущих белградских журналов нашел себе союзника в лице выдающихся македонских критиков. Позиция журнала "Дело", выступавшего за разнообразие художественных направлений, за развитие новых тенденций и литературный эксперимент, была созвучна взглядам македонского писателя и критика Д. Солева, главного защитника модернизма в Македонии. В своей программной статье "Время и выражение" [1] Солев (как и его оппоненты) ссылается на положения философии диалектического материализма. По его мнению, неправильным является буквальное восприятие диалектически верного утверждения, что формы выражения зависят от времени. Нельзя забывать, что между произведением, обладающим определенной формой, и жизнью, которую оно отражает, находится личность писателя – не только художника, но и человека. Именно поэтому в литературе невозможно достижение объективности, ибо человек неизбежно не только объект художественного произведения, но и его субъект. Чем произведение более самобытно, как полагает Солев, тем оно и более субъективно. При этом субъективность отнюдь не означает ухода от действительности или ее искажения. Реальность может быть правдиво отражена и при помощи нереалистических методов, важно лишь качество, т.е., чтобы это была настоящая литература, которая "никогда не была *нереалистичной*, хотя очень часто была *нереалистической*" [1. С. 78]. Солев не отрицает, что в литературе нужна реалистичность, наоборот, называет это аксиомой; но он призывает подходить к понятию реалистичности диалектически, отдавая себе отчет в том, что жизнь не стоит на месте и, например, в XX в. "повествовательность", свойственная реализму XIX в., "устарела". Каждая эпоха, как и каждая творческая личность, по мысли Солева, должна вносить в искусство что-то новое.

Очевидно, что последнее, как и многие другие положения Солева, не стал бы категорично оспаривать и его основной оппонент Д. Митрев. Взгляды Митрева подробно изложены в статье "О некоторых особенностях современного реалистического метода" [2], опубликованной в журнале "Савременик", печатном органе реалистов. Критик говорит о том, что сама диалектика жизни делает реализм диалектичным, заставляет его развиваться, тем более, что у отдельного художника любой метод получает индивидуальный облик. Реализм нельзя воспринимать как мертвую догму: современная реалистическая литература наследует все лучшее из старого и комбинирует его с новыми элементами. Одним из этих новых элементов Митрев называет "окончательное освобождение полета субъективного" [2. С. 72], служащее утверждению творческого суверенитета художника. Современная литература должна критически отнестись к такому наследию реализма XIX в. как "внешняя объективизация" и "внешняя констатация" [2. С. 72] (близкие к солевской "повествовательности"), а также статичность описаний. При этом Митрев считает неизбежным существование нереалистического искусства, которое всегда развивается параллельно реализму, но выступает против фанатичных авангардистов, утверждающих, что реализм как метод безнадежно устарел. Таким образом, разница в теоретических изысканиях полемистов во многом фактически сводится к толкованию некоторых терминов: Митрев называет "современным реализмом" то, что Солев именует "модернизмом". Казавшиеся тогда принципиально противоположными точки зрения этих критиков сейчас воспринимаются как не столь уж противоречащие друг другу.

Парадоксальное сближение позиций Солева и Митрева ярко показывает и статья последнего "Роман одной драмы" [3]. Статья посвящена роману С. Яневского "Две Марии" ["Две Марии"] (1956), отрывок из которого был помещен в № 12 журнала "Савременик" за 1956 г. Данная работа Митрева – прекрасное свидетельство того, что расхождение между македонскими "реалистами" и "модернистами" в значительной степени основывалось не столько на принципиально противоположных теоретических и идеологических построениях, сколько на разном восприятии конкретных фактов литературной действительности. В упомянутой статье критик высказывается против таких отживших литературных явлений как "черно-белая техника", схематизм, композиционное "хроникерство", повествовательность при отсутствии психологизма,

которые были свойственны македонской прозе предыдущего периода, в частности, роману Яневского "Село за семью ясенями". Митрев приветствует обращение к проблемам, актуальным для современной мировой литературы, например, к проблеме душевного равновесия современного человека; одобряет и использование ассоциативно-медитативного стиля, и "открытость" прозы для лирики (последнее он отмечает как "тенденцию современной прозы" [3. С. 365]). Но при этом для него исключительно важно, чтобы авангардные методы, сами по себе не являющиеся злом, не превращались в эксперимент ради эксперимента, чтобы форма была адекватна содержанию. Критик выступает за реализм, но за реализм обновленный, относя высоко оцененный им роман Яневского к психологическому реализму и противопоставляя этот метод "описательному", или "повествовательному" реализму романа "Село за семью ясенями". В то же время роман "Две Марии" в статье характеризуется как "ярко выраженный современный роман", "роман по-настоящему авангардный", а сам Яневский – как "безусловно современный прозаик" [3. С. 364]. (Очевидно, для Митрева термин "современный" синонимичен также употребляемому им слову "современный", а не слову "модернистский".) Митрев отмечает присущую ассоциативно-медитативному стилю субъективность, но не считает ее недостатком, даже напротив, – конечно, если при этом в произведении все-таки отражается "реалистическое". Подобная субъективность особенно присуща современной литературе, но не изобретена ею: предшественниками данной тенденции критик называет М. Горького ("Жизнь Клима Самгина") и Л.М. Леонова ("Скутаревский"); истоки же "модерного" психологизма Митрев возводит к таким образцам в литературе прошлого как произведения Ф.М. Достоевского, М. Црнянского и Б. Станковича. Главным же достоинством художественного произведения для критика остается его связь с жизнью, "нерв жизни", чему вовсе не может помешать процесс необходимой "модернизации" македонской литературы. В целом же никакой авангардный прием или метод, если он художественно оправдан, сам по себе не встречает со стороны Митрева осуждения: ни ассоциативность, если она не "безассоциативна", ни внутренние аналогии, если они не абстрактны.

Обращает на себя внимание резко отрицательное отношение к экспериментальному роману Яневского, казалось бы, модернизирующего македонскую прозу, со стороны "модернистов". Если в статье Митрева это произведение относится к крупным достижениям македонской литературы, знаменующим собою ее "истинную модернизацию" [3. С. 369], то в статье М. Гюрчинова «Славко Яневский. "Две Марии". Скопье, 1956» [4] дана характеристика прямо противоположная; причем, вероятно, здесь содержится скрытый полемический ответ именно на рецензию Митрева. Гюрчинов, конечно, упрекает Яневского не за использование неких формальных инноваций, а за механистичность их перенесения на национальную почву. В недостатках романа, по мнению критика, "виноват" не метод, не концепция, а "эфемерная и профанирующая схема основной концепции" [4. С. 934], недостаток содержательного момента, модернистские штампы. Гюрчинов подчеркивает, во-первых, что перед македонской литературой стоит реальная проблема освоения современных выразительных средств, художественной эмансипации и равноправного включения в общегославский литературный процесс; во-вторых, что данную проблему нельзя решить посредством формалистических механических нововведений, за которыми не кроются ни человеческие переживания, ни жизненное содержание, ни просто смысл. Такая точка зрения, как мы видим, практически сближает существенные моменты в позициях Солева и Митрева.

Схожая ситуация сложилась при рецензировании сборника стихов А. Шопова "Слейся с тишиной" ["Слеј се со тишината"] (1955). На эту книгу в своих статьях откликнулись антагонисты македонской литературной полемики 50–60-х годов Солев и Митрев. Если споры вокруг романа Яневского "Две Марии" отразили отношение македонской критики к злободневному вопросу сосуществования реализма и модернизма, то статьи о книге Шопова затронули еще одну тему, весьма актуальную для

югославских литератур данного периода: тему интимной поэзии. Известно, что в Македонии особенно острые дискуссии об интимной поэзии вызвал предшествующий сборник Шопова "Стихи о муке и радости" ["Стихови за маката и радоста"] (1952). По нашему мнению, их острота была вызвана не только новизной тематики (обращение к внутреннему миру человека и глубоко интимным чувствам), но и, прежде всего, художественной слабостью "Стихов о муке и радости". Многие "интимные" стихи Шопова не достигали уровня его лучших произведений "партизанского" периода, что дало критике повод резко и необоснованно обвинять поэта в "приспособленчестве" и следовании моде (см., например, [5]). В то же время, никто из критиков не порицал Шопова за тематику, хотя многие и выступали против некоторой ее односторонности, считая такое явление "другой крайностью", пришедшей на смену "лозунговой" поэзии. Можно сказать, что те, кто защищал Шопова, фактически защищали новую поэтическую тенденцию в целом (Митрев, отмечавший и недостатки сборника), а те, кто его критиковал, критиковали слабые стороны конкретной книги, не оценив новизну самой общей тенденции, проявившейся в произведениях Шопова (П. Бошковский, Т. Арсовский, В. Малеский). В следующем сборнике "Слейся с тишиной" поэту удалось лучше освоить новую для него (и для македонской литературы в целом) тематику и достичь больших художественных высот – потому, как мы думаем, эта книга не вызвала столь бурных споров. Тем не менее, данные ей Митревым и Солевым оценки не совпадают. В статье «Ацо Шопов. "Слейся с тишиной". Заметки на полях стихов» [6] Солев словно подводит итог прошедшей ранее дискуссии. По его мнению, взгляд на поэзию как на "чисто личное дело", имеющее только субъективный характер, и отношение к ней только как к общественному делу объективного характера представляют собою две крайности, между которыми "металась" македонская литература; причем ее представители полагали, что "личная" и "общественная" тенденции несовместимы. Однако, как считает критик, их не только можно, но и следует соединить. Завоевание права на интимную лирику есть несомненный шаг вперед, но остановиться на нем означало бы остановиться на полпути: разрыв между индивидуальным и общим, субъективным и объективным должен быть преодолен. В противном случае поэзия неизбежно "мельчает", несомненные признаки чего Солев усматривает и в лирике Шопова. Критик подчеркивает, что недостаток этих стихов кроется не в "неправильном" подходе автора к поэзии, не в желании раскрыть свой внутренний мир, а в том, что воплощение поэтической личности недостаточно сильно. Поэтому Солев, как и Малеский, гораздо выше ставит ранние "партизанские" стихотворения Шопова "Очи" ["Очи"] и "Любовь" ["Љубов"] (1944), чем его интимную поэзию. Правда, в отличие от Малеского, автор статьи видит достоинство последней в искренности Шопова, но об этом, по мнению Солева, не стоит и говорить, тем более, что речь идет о значительном (если судить по "партизанской" лирике) поэте. Критик называет сборник "Слейся с тишиной" неоригинальным и незаконченным как с формальной, так и, особенно, с содержательной точки зрения и характеризует его как производящий впечатление несовременного. Иначе считает Митрев [7]. По его мнению, субъективность, уединение лирического героя Шопова не приводят к изоляции, сама интимность не становится замкнутой, обращение к теме тишины ведет за собою не глухоту к окружающему миру, а катарсис молчания, следствием которого становится более ясное звучание поэтического голоса. Критик настаивает на том, что лирические настроения в поэзии Шопова – не просто субъективные состояния, но носители "общечеловеческого лирического момента" [7. С. 302]. Давая сборнику самую положительную характеристику, он противопоставляет творчество поэта "распространенным в последнее время феноменам безассоциативной ассоциативности, метафорического беспорядка, немзыкальности и бессмысленности стиха", всему тому, что Митрев обозначает как "квазимодерность" [7. С. 303]. В стихах Шопова, напротив, критик находит мелодичность, ясность метафорики, естественность ассоциаций. При этом, однако, и он отмечает: поэт иногда теряет критерий значительности/незначительности описываемого,

что приводит к наивности и иллюстративности. Таким образом, оба критика справедливо указывают на то, что поэзия должна от личного восходить к общему, "обще-человеческому"; но Солев, в отличие от Митрева, подобного восхождения в сборнике "Слейся с тишиной" не усматривает, тогда как Митрев отмечает позитивность самой проявившейся в творчестве Шопова тенденции.

В 1966 г., когда литературные дискуссии по проблемам художественной модернизации в целом утратили свою остроту, а спор об интимной поэзии перестал быть актуальным, в Титограде вышел сборник поэзии Шопова на сербском языке "Вечерние сумерки" ["Предвечерје"]. Он был отрецензирован югославскими критиками в журналах "Дело" и "Савременик", не вызвав при этом резко противоположных оценок. Милошав Миркович в журнале "Дело" [8] отмечает, что в творчестве Шопова наблюдается переход от программной искренности к чистому лиризму. Признавая, что поэт достигает больших высот, критик, тем не менее, отмечает такие недостатки стихов Шопова как дневниковость и описательность. Миркович пишет: "Являясь противником грохочущему эксперименту... своего века, он представляет в македонской поэзии лирическое течение, которое не открывает глубокого дна, но струится по местам и пейзажам, где человеку хорошо и тепло" [8. S. 625]. Журнал "Савременик" откликнулся на издание поэзии Шопова на сербском языке статьей М. Рацковича "Символическое повествование" [9]. Рацкович также характеризует Шопова прежде всего как лирика, обращающегося к сердцу, а не к разуму. По мысли критика, особенно ценно то, что осознание индивидуальной человеческой судьбы у поэта перерастает в универсальную картину мира. Случается, что эта универсальность теряется, но такие моменты редки. Знаменательно, что именно критик, пишущий в модернистском журнале, положительно оценивает творчество Шопова, противопоставляя его "грохочущему эксперименту", в то время как критик из реалистического журнала хвалит поэта за то, что его пейзаж является не "классическим", а "символическим".

Югославская критика отозвалась и на сербское издание романа В. Малеского "То, что было небом" ["Оно што беше небо"] (Белград, 1960). У. Крстич в статье "Интеллигент пишет о войне" [10] определяет произведение Малеского как "впечатления чувствительного интеллигента": это, по мнению критика, обусловило и сильные, и слабые стороны книги. Основным недостатком романа является модернистский метод, к которому у автора, как считает Крстич, нет врожденной склонности. Если бы Малеский не поставил себе цели любой ценой писать "модерно", то у него получилась бы потрясающая военная хроника; но вместо этого вышла книга "изломанная" и "путаная". "Но все-таки – удивительная книга" [10. С. 604], – несколько противореча сам себе, заканчивает статью критик. Достоинство книги, по Крстичу, заключается в ее тематике, в достоверности описанных событий. Рецензент журнала "Савременик" особенно выделяет как удачный образ сельского бедняка Игно, выписанный наиболее реалистически, полагая, что он художественно более убедителен, чем центральный образ партизана Наума, созданный в "модерной" манере. Р. Джокич, рецензент журнала "Дело", в статье "Дилеммы и решения" [11], напротив, высоко оценивает роман именно потому, что тот – не военная хроника, не панорама революционной борьбы, а описание человеческой драмы, умело извлеченной автором из исторических событий. В отличие от Крстича, Джокич называет образ крестьянина Игно недостаточно определенным, эскизным, считая более удачным "модернистский" образ партизана Наума. Критик подчеркивает, что главное в книге Малеского – не описание событий, а их субъективное переживание и постановка на их материале проблемы выбора. По мнению Джокича, роман "То, что было небом", несмотря на слабые места, есть несомненное доказательство прогресса молодой македонской литературы. Таким образом, оценки белградских критиков, данные книге Малеского, отразили эстетические позиции обоих журналов, в начале 60-х годов еще явно противостоявших друг другу в общих вопросах, хотя это противостояние часто носило декларативный характер.

На примере статей о сборнике Шопова "Вечерние сумерки" мы уже увидели, что в середине 60-х годов в журнальных рецензиях на конкретные литературные произведения, в том числе, и македонских авторов, обнаруживается сближение позиций югославских реалистов и модернистов. Еще более заметно данная тенденция проявилась в положительных откликах журналов "Дело" и "Современник" на выход книги рассказов Ж. Чинго "Пасквелия" ["Пасквелија"] на сербском языке в Белграде (1965). В журнале "Дело" была опубликована рецензия М. Мирковича [12], который отмечает в прозе Чинго прежде всего связь с жизнью, "корнем жизни", отражение духа времени – чего в первую очередь требовали от литературы реалисты. Метод Чинго лежит "между публицистикой и легендой" [12. S. 316] и заставляет критика вспомнить творчество И. Бабеля и Всеволода Иванова. В свою очередь, журнал "Современник" откликнулся на сборник Чинго статей Предрага Протича "Рассказы о селе и революции" [13]. У Протича книга Чинго также вызывает ассоциации с произведениями Бабеля. Во-первых, "Пасквелия", как "Конармия" и "Одесские рассказы", структурно представляет собою нечто среднее между сборником рассказов и романов, в чем критик усматривает "сознательное копирование композиции Бабеля" со стороны Чинго. Во-вторых, Бабель "вообще много помог Чинго во взгляде на революцию и в художественном изображении единственного в своем роде и сложного процесса". С Бабелем, Б. Пильняком и "остальными писателями советской послеоктябрьской литературы, которые смотрели на революцию в необычном ракурсе" [13. S. 369], Чинго сближает сходство изображаемой среды и общественных отношений, а также проблематика столкновения нового и старого. Протич отмечает и влияние на македонского автора таких писателей, как Л. Андреев, М. Горький, А. Чехов, М. Шолохов. Однако литературные влияния преодолеваются в книге Чинго исключительным чувством жизни и реальности, которое выгодно отличает его от целого ряда писателей его поколения. Таким образом, оба рецензента отмечают как позитивные явления и прочную связь творчества Чинго с реальной жизнью, и усвоение им опыта Бабеля, служившего ориентиром для югославских модернистов.

Отразила сближение югославских реалистов и модернистов и публикация в журнале "Современник" статьи Богдана А. Поповича "Об одном поколении македонских поэтов" [14]. Речь в ней идет о группе македонских модернистов: Ц. Андреевском, А. Поповском, З.М. Йовановиче, П. Андреевском, В. Урошевиче, Р. Павловском, Б. Гюзеле. Практически все они, как и многие их единомышленники (М. Матовский, Г. Тодоровский, П. Бошковский и другие), активно печатались в журнале "Дело", где публиковались положительные рецензии на их сборники, а также статьи, посвященные их творчеству. Постоянным автором журнала "Дело" являлся македонский писатель и критик В. Урошевич, перу которого принадлежат рецензии на следующие сборники поэтов, вошедших в историю македонской литературы как "третье поэтическое поколение": "Засуха, свадьба и переселения" Р. Павловского ["Суша, свадьба и селидби". 1961] [15], "Медовуха" Б. Гюзела ["Медовина". 1962] [16], "И на небе, и на земле" П. Андреевского ["И на небо и на земја". 1962] [17], "Август" Й. Павловского ["Аугуст". 1962] [18]. Кроме того, в журнале "Дело" были опубликованы эссе Урошевича под общим заглавием "Пять южных стран" [19], в которых он анализировал творчество П. Андреевского, П. Бошковского, Й. Павловского, Б. Гюзела, Р. Павловского. Из югославских исследователей обзором новой македонской поэзии занимались Петар Джаджич (рецензии на сборники: М. Матовского "Дожди" ["Дождови". 1956] [20], Г. Тодоровского "Спокойный шаг" ["Спокоен чекор". 1956] [21]), Милосав Миркович (рецензии на сборники: В. Урошевича "Другой город" ["Еден друг град". Скопје, 1959] [22], Г. Тодоровского "Радуга" ["Божилак". 1960] [23], П. Бошковского "Суходол" ["Суводолица". Београд, 1962] [24], М. Матовского "Дожди" ["Дождови – Кише". Београд, 1962] [25], С. Ивановского "Заколдованный путник" ["Маѓепсан патник". 1966] [26], В. Урошевича "Летний дождь" ["Летен дожд". 1967] [27]). Интерес журнала "Дело" к творчеству македонских поэтов "нового поколения" имел и субъективную, и объективную причину. Объективно во второй половине

50-х – первой половине 60-х годов македонская поэзия в художественном отношении была выше прозы, и тон в ней задавали именно авторы, попадавшие в сферу внимания журнала "Дело". Субъективная же причина заключалась в том, что творческие поиски представителей македонского "третьего поэтического поколения", стремившихся к обновлению художественного слова, были близки белградским модернистам. Иная ситуация сложилась в журнале "Современник". Как нам представляется, здесь имела место "культура игнорирования" (Солев). Ни на один из упомянутых выше сборников, многие из которых стали заметным явлением не только в македонской литературе, но и в целом в литературах СФРЮ, журнал "Современник" не ответил рецензией. По сути, статья Б. Поповича стала первым откликом журнала на творчество "нового поколения" македонских поэтов. В этом же номере были напечатаны стихотворения Матевского и Тодоровского. Ранее поэзии Матевского для журнала "Современник" как бы не существовало, при том что первый сборник поэта, "Дожди", обозначивший переход национальной поэзии к выразительным средствам модернизма, вышел в свет за восемь лет до этого, а в 1962 г. был издан в Белграде параллельно на сербском и македонском языках. Что же касается Тодоровского, то в № 4 журнала "Современник" за 1957 г. было опубликовано его, написанное в "традиционной" манере, стихотворение "Ноябрьская балада" ["Ноемвриска балада"], а затем в печатном органе белградских реалистов "забыли" и об этом ярком поэте, авторе "программного" для "третьего поэтического поколения" стихотворения "Семь возвращений к мотиву осины" ["Седум навраќања кон мотивот трепетлика", 1956]. Нарушая долгое молчание, Б. Попович в статье "Об одном поколении македонских поэтов" высоко оценивает поэзию "нового поколения", особенно П. Андреевского, Р. Павловского и Б. Гюзела. Отмечая их современные стилистические методы, необычный способ восприятия мира, отсутствие в текстах привычной логической непрерывности и хронологического порядка, критик пишет, что в то же время вполне традиционными у данных поэтов являются обращение к теме родины, к национальному фольклору (хотя и своеобразно трансформируемому), а также ясность и яркость поэтических картин. Последнее, как характерную черту поэтики "третьего поколения", Попович противопоставляет образности сюрреалистической "автоматической" поэзии. По мнению критика, стихотворения П. Андреевского, Р. Павловского и Б. Гюзела, несмотря на отсутствие рифмы и метрической схемы, отличаются ритмичностью и динамикой. А главное, они с помощью современных способов "осуществляют связь между комплексным опытом, существующим у поэта-интеллектуала, и современным моментом" [14. S. 649]. Примечательно, что здесь нет обвинений ни в отсутствии мелодичности, ни в "непонятности" и "неясности", ни в отрыве от национальной почвы, современности и реальности. Напротив, критик-реалист признает за молодыми поэтами все достоинства, противоположные перечисленным выше недостаткам, а творческие поиски модернистов встречают у него сочувствие.

Позиция обоих журналов выражалась не только через рецензирование и публикацию конкретных произведений, но также в обзорных статьях, посвященных путям развития художественной литературы, но и в непосредственных откликах на ситуацию, складывающуюся в самой литературной критике. Часто именно в таких эссе о проблемах современной критики наиболее четко проявлялись и расхождения, и близость позиций представителей журналов "Дело" и "Современник". Интересно в этом отношении сравнить две статьи о критике, которые были написаны ведущими македонскими полемистами с разрывом почти в десять лет и явились самым прямым откликом на югославские и, в частности, македонские литературные дискуссии: "О некоторых проблемах критики" Митрева [28] и "Ситуация 1965" Солева [29]. Митрев в самый разгар полемики указывает на следующие слабые стороны литературной критики: 1) отсутствие определенного идейно-эстетического взгляда как философской концепции; 2) пренебрежение этическим компонентом (критика не воспринимается как моральный акт); 3) догматизм (в данном случае – "идеалистический", пришедший на смену "утилитарному"); 4) непоследовательность, "литера-

турное политиканство"; 5) "литературный дальтонизм", игнорируются представители "чужих" направлений; 6) стремление подвести все творческие личности и произведения искусства под один эстетический критерий (модернистский), что было для Митрева выражением мелкобуржуазного "филистерства" [28. С. 607]. Солев рассматривает период наиболее горячих дискуссий "на расстоянии", но полагает, что проблемы критики и в 1965 г. во многом остаются теми же. Если Митрев говорит о недостатках югославской критики вообще, то Солев – о недостатках критики македонской. По его мнению, это: 1) отсутствие историчности; 2) моральная и интеллектуальная непоследовательность; 3) в предшествующий период – "позитивистский" догматизм с опорой на политическую идеологию; 4) в текущий период, когда новые направления отстаивали свое право на существование, – "этика эфемерности" (отсутствие этики, конформизм) и 5) "культура игнорирования" (то же, что "литературный дальтонизм" у Митрева). И здесь мы наблюдаем, как сблизились взгляды обоих критиков. Фактически, их волнуют одни и те же проблемы развития македонской литературы и критики, соотносимые с проблемами, возникавшими в других югославских литературах.

Таким образом, к середине 60-х годов полемика македонских реалистов и модернистов утрачивает остроту. Причиной этого Солев, подводя итоги бурных литературных дискуссий целого десятилетия в статье "Ситуация 1965", называет исторически обусловленную победу нового. Но и защитники модернизма отказались от крайних воззрений и излишней резкости оценок – от того, против чего и выступал Митрев. Привела к этому сама литературная практика: как мы полагаем, когда в Македонии начиналась полемика, она во многом была "теоретической", опиралась, в силу особенностей исторического развития национальной литературы, на весьма ограниченное количество произведений, часто, к тому же, "ученических". Как пишет в упомянутой выше статье Солев, македонская литература еще не определилась между народным творчеством и классическим реализмом, когда перед ней появилась третья возможность: современные художественные методы. Поэтому критическая полемика в рассматриваемый период, во многом благодаря влиянию других югославских литератур, несколько обгоняла художественное творчество. Однако, как мы считаем, это не является негативным фактором: обгоняя литературную практику, критика ее своеобразно "подгоняла", время показало, что в целом дискуссии 50–60-х годов, несмотря на все моменты неизбежной необъективности, были плодотворны. Можно сказать, что полемика закончилась в пользу македонской литературы, которая на практике оказалась "мудрее" публицистически заостренных литературно-критических точек зрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Solev D.* Vreme i izraz. // Delo. 1956. № 1–2.
2. *Митрев Д.* О неким обележјима савременог реалистичког поступка. // Савременик. 1958. № 7.
3. *Митрев Д.* Роман једне драме. // Савременик. 1957. № 3.
4. *Ђурчинов М.* Slavko Janevski "Dve Marije". Skopje, 1956. // Delo. 1957. № 5.
5. *Малески В.* Шлагери и музика. // Разгледни. 1953. № 3.
6. *Solev D.* Aco Šopov: "Slej se so tišinata". Marginalije uz poeziju. // Delo. 1956. № 4.
7. *Митрев Д.* Ацо Шопов. "Слеј се со тишината". Скопје, 1955. // Савременик. 1956. № 9.
8. *Mirkovič M.* Aco Šopov: "Predvečerje". Titograd, 1966. // Delo. 1966. № 4.
9. *Rackovič M.* Simboličko kazivanje. Aco Šopov: "Predvečerje". Titograd, 1966. // Savremenik. 1966. № 8–9.
10. *Крстич У.* Један интелектуалац пише о рату. // Савременик. 1960. № 12.
11. *Ђокић Р.* Dileme i odluke. // Delo. 1961. № 1.
12. *Mirkovič M.* "Paskvelija" Živka Činga. // Delo. 1966. № 2.
13. *Protič P.* Priče o selu i revoluciji. // Savremenik. 1966. № 4.

14. *Popovič B.A.* O jednoj generaciji makedonskih pesnika. // *Savremenik*. 1964. № 6.
15. Delo. 1961. № 8–9.
16. Delo. 1962. № 8–9.
17. Delo. 1963. № 2.
18. Delo, 1963. № 5.
19. *Urošević V.* Pet južnih zemalja. // *Delo*, 1961. № 1.
20. Delo. 1957. № 2.
21. Delo. 1957. № 5.
22. Delo. 1959. № 12.
23. Delo. 1961. № 3.
24. Delo. 1962. № 7.
25. Delo. 1962. № 10.
26. Delo. 1966. № 10.
27. Delo. 1967. № 10.
28. *Mumrev Đ.* O nekim problemima kritike. // *Savremenik*. 1957. № 5.
29. *Solev D.* Situacija 1965. // *Delo*. 1966. № 1.



© 2002 г. В.А. ХОРЕВ

ЛИТЕРАТУРА "ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА". ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ 1960–1990-х ГОДОВ

При подведении итогов развития литературы в XX в. можно обратиться как к историко-литературному процессу в национальных литературах, так и к наднациональным литературным направлениям (реализм, футуризм, сюрреализм, постмодернизм и т.п.). Дополнительные сложности при подведении итогов возникают в связи с проблемой литературы, "опоздавшей" к читателю, что особенно важно для XX в., в котором острая политическая цензура тоталитарных режимов затрудняла или делала невозможным своевременное знакомство читателя с "идеологически невыдержанной" литературой, в том числе эмиграционной. После краха коммунистической утопии, после преодоления в гуманитарных науках догматической идеологической доктрины необходима и существенная переоценка многих ценностей, оказавшихся фальшивыми. Но невозможно рассматривать ни национальные литературы, ни общие категории в отрыве от исторического процесса, от общественной действительности. Являясь элементом целостной культурной системы, литература развивается в тесной связи с жизнью общества.

В XX в. Польша (как и вся Европа) испытала такие потрясения, как массовое уничтожение людей в результате кровопролитных мировых войн и господства тоталитарных систем в Германии и СССР, фиаско исторического эксперимента – построения наиболее "прогрессивного общества" (в СССР и в других странах социалистического лагеря). В итоге утрачивалась вера в человеческий разум и мораль, в прогрессивную эволюцию человечества. Исчез фундамент культуры XIX в. – убеждение в поступательном общественном прогрессе, берущее свое начало еще в эпохе Возрождения, обесценивались идеи, как революции, так и прогрессивной эволюции.

Именно с отношением к этим потрясениям, и, стало быть, с осмыслением главной проблемы гуманизма – места человека в истории, в обществе – связаны, в первую очередь, судьбы литературы в XX в., в том числе польской.

Осмысление это проходило в разных конвенциях. В реализме, унаследованном от XIX в. и сохранившем живучесть и в XX в., человек рассматривался в системе общественных отношений, в его принадлежности к определенной общественной группе с ее

Хорев Виктор Александрович – д-р филол. наук, зам. директора Института славяноведения РАН.

характерными чертами, традициями, этикой и жизненными стремлениями ("Ночи и дни" (1932–1934) М. Домбровской, "Граница" (1934) З. Налковской, "Слава и хвала" (1956–1962) Я. Ивашкевича, "Камень на камне" (1984) В. Мысливского и др.).

Но гораздо большее, чем прежде, внимание стал привлекать субъективный мир человека. Открытия в области психологии и психоанализа дали огромный толчок к развитию новых форм самопознания и самовыражения в литературе, анализ субъективного опыта единичного человеческого существования. Эта литература расстается с традиционным изображением жизни в "формах самой жизни", до неузнаваемости модифицируя либо скрещивая их с другими. Огромную роль стали играть приемы интроспекции, внутреннего монолога, потока сознания, а также гротеска, абсурда, пародии, которые постепенно стали восприниматься читателем столь же привычно, как в XIX в. классический реализм (С.И. Виткевич, Б. Шульц, В. Гомбрович, Т. Ружевич, С. Мрожек).

Адекватным для отображения непостижимого хаоса мира многим показался постмодернизм, который поставил своей целью освобождение творческой личности от любого рода детерминизма. Но в то же время постмодернизм отказался от веры в возможность объективного изображения действительности, от существования объективной истины вообще, от веры в возможность познания литературой (и культурой в целом) человека и ее воздействия на человеческие судьбы. Постмодернизм появился, по-видимому, как необходимое противоядие против социологического либо психологического редукционизма в культуре и в литературе. Но претендуя на роль универсального и глобального метода не только всей современной литературы, но и всех гуманитарных наук, он именно своим релятивизмом завел литературу как язык коммуникации в тупик, а методологию гуманитарных наук в ощущаемый ими кризис.

В конце века все явственнее ощущается реакция на постмодернизм – появление произведений "постреалистической" литературы, в которой наряду с литературой вымысла огромную и даже ведущую роль стали играть "парабеллетристические", как их называют в польской литературной критике, жанры "невыдуманной литературы". В парабеллетристике можно выделить (вслед за М. Чермынской) такие сферы, как "литература факта" (репортаж, очерк), эссе и "человеческий документ"¹ (дневник, воспоминания, автобиография, письма и др.). Границы между ними условны, весьма подвижны и часто трудноуловимы, особенно между эссе и "человеческими документами", предназначенными для прижизненной публикации. Надо иметь в виду и частое взаимопроникновение элементов сюжетной и документальной прозы.

В польской литературе до переломного 1956 г. возможности личностного писательского самовыражения были весьма ограничены, а, значит, не было и условий для развития жанров "рефлексивной" прозы (человеческий документ, эссе). Их расцвет начинается с конца 50-х годов и с разной степенью интенсивности продолжается до сих пор.

Причин расцвета этих жанров и их огромного читательского успеха много. Это и современный взрыв информации, перед которым ступали "уставшие" традиционные повествовательные формы. Это и потребность писателей в поисках новых оснований для литературы вымысла, которые они ищут в укорененности замыслов своих произведений в собственной биографии, часто подретушированной, мифологизированной, дописанной вымышленными эпизодами – ради достижения ее символического смысла (и своеобразной игры с читателем). Это и потребность осмыслить с личностных позиций актуальные морально-философские вопросы: этика и политика, человек в потоке истории, каноны и стереотипы мышления, перспективы развития цивилизации и т.д. Осмыслить их с использованием новых художественных средств, привлекающих внимание читателя, ибо эти "вечные" проблемы на каждом этапе развития общества решаются литературой по-новому – и по существу, и по форме.

¹ Термин, введенный Л. Гинзбург. В польском литературоведении утвердился термин "литература личного документа" ("literatura dokumentu osobistego"), предложенный Р. Зимандом.

Индивидуализация видения мира в эссе и "человеческом документе" разрушает стереотипы, сложившиеся в массовом сознании. Для этого писатели часто прибегают к парадоксам, оксюморонам, иронии и другим, привлекающим внимание читателя средствам выявления своего, несхематического взгляда на мир.

В этих жанрах факты не являются только первоосновой или прототипикой для художественного произведения, как в литературе вымысла. В них – в открытой авторской интерпретации – обнаруживается скрытая эстетическая энергия жизненного факта, действительного случая, характера и поведения конкретного лица, его суждений о других людях и о себе самом. В них отражается социальная психология различных слоев общества, правда о человеке и его времени, раскрывается личность рефлектирующего автора, предлагающего определенный способ понимания самого себя, других людей, культурного наследия, окружающего мира.

Именно это обстоятельство позволило польскому критику Т. Буреку назвать разнообразные бесфабульные повествовательные формы "скрытым романом". И, если принимать этот, в общем, удачный термин, то следует признать, что он наиболее приложим к литературе *человеческого документа* – автобиографии, дневнику, мемуарам – в тех случаях, когда в них раскрываются важные, значительные не только для автора факты личной и общественной жизни, показывается связь человеческой судьбы с историей, когда в них явственно ощущается образ самого писателя, занимающего определенные жизненные позиции. То есть, задан определенный уровень художественной интерпретации, соотносимый с уровнем типизации в литературе вымысла. *Документальной* эту прозу – воспользуемся определением известного литературоведа Л. Гинзбург – делает установка "на подлинность, ощущение которой не покидает читателя, но которая далеко не всегда равна фактической точности", "литературой же как явлением искусства ее делает эстетическая организованность" [1. С. 10].

Жизненные факты обладают скрытой эстетической энергией именно на уровне интерпретации. Существует огромное число документальных произведений, в которых приводится множество фактов, подчас интереснейших, говорится о многих событиях и людях, но которые не являются художественными произведениями из-за отсутствия в них – преднамеренной или непреднамеренной – эстетической организованности изображаемого, осознания факта как концентрации определенного исторического, философского, психологического содержания, смысла, идеи. Такие произведения имеют значение как источник исторических сведений или выразитель сознания определенных социальных слоев, как создатель общественного мнения, но они не могут претендовать на эстетическое значение и не относятся к литературе.

"Действительно, – писал по этому поводу Ф.М. Достоевский, – проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительности жизни, – и если только вы в силах и имеете глаза, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в силах? Ведь не только чтобы создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только заметить факт, нужно тоже в своем роде художника" [2. С. 144].

Художественное воссоздание действительности предполагает, что и в парабеллетристическом произведении факты жизни не копируются или инвентаризируются, а отбираются с позиций определенного мировоззрения и пропускаются через личностное сознание писателя. Это одна из важнейших точек сближения литературы вымысла с невымышленной. Имея, например, дело с писательским дневником или мемуарами, мы все равно имеем дело с миром воображения, "фикции". Ибо любая попытка воссоздания духовного "я" и тем более попытка проникновения в духовную жизнь другого человека является конструкцией из области и "материала" художественного вымысла и оказывается в той или иной мере продуктом воображения. Она не может без него возникнуть, является более или менее достоверным приближением к реальной действительности, окрашена субъективным выбором и восприятием и принадлежит сфере художественной литературы.

Колоссальные художественные и познавательные возможности литературы "человеческого документа" показали произведения писателей-эмигрантов. Хотя многие из них были написаны в 50–60-е годы, в литературное сознание в Польше они вошли лишь в 70–90-е годы. Именно тогда в Польшу пришли в полном объеме выдающиеся "человеческие документы", созданные в эмиграции: В. Гомбрович "Дневники. 1953–1966"; Г. Херлинг-Грудзиньский "Иной мир" (1953), "Дневник, написанный ночью" (1971–2000); Ч. Милош "Порабощенный разум" (1953), "Семейная Европа. Автобиография" (1959), "Видение над заливом Сан-Франциско" (1969), "Земля Ульро" (1977); А. Ват "Мой век" (1977); Ю. Чапский "Суматоха и призраки" (1981); Л. Тырманд "Дневник 1954" (1980); Е. Стемповский "От Бердичева до Рима" (1971); К. Еленьский "Совпадение обстоятельств. О прочитанном и пережитом за 30 лет" (1981) и др.

Одним из главных достоинств этих произведений явился взгляд на польские проблемы с определенной дистанции, позволявшей преодолеть замкнутость мира, в которой литературу и общество держал политический режим. Польские комплексы и стереотипы рассмотрены в этих текстах на широком, прежде всего общеевропейском историко-культурном фоне, увидены как бы через отражение в зеркале иных культур.

Важной чертой этой прозы, как и произведений такого же плана в самой Польше, является стремление к интеллектуальному раскрепощению человека, который испытывает постоянное давление политических мифов и коллективных эмоций, к пробуждению собственного "я" в частице толпы, лишенной индивидуального существования, оболваненной пропагандой.

Одним из первых польских документов, решительно взломавших устоявшиеся в официальной пропаганде и литературе представления о Варшавском восстании 1944 г., огромной национальной трагедии Польши, был "Дневник Варшавского восстания" (1970) М. Бялошевского. Бялошевского интересует не героика событий, а судьбы гражданского населения столицы гораздо более многочисленного, чем отряды тех, кто выступил с оружием в руках. В описаниях автором своих переживаний того времени – переживаний подростка, стремившегося, как и его окружение, выжить, уцелеть в том аду, в который превратили Варшаву гитлеровцы, систематически, дом за домом уничтожая город (что фиксируется Бялошевским с топографической, можно сказать, точностью), раскрывается не представленная до тех пор в литературе часть правды о Варшавском восстании. Это – ощущение страха, безысходности, обреченности невольных участников страшного действия, неудержимо стремящегося к своему трагическому финалу. Не вызывающая сомнений подлинность дневниковых записей и воспоминаний автора, достоверность его переживаний и размышлений, раскрывающих новые черты жизни восставшего города, а также незаурядное мастерство писателя, использовавшего в книге живой разговорный язык варшавской улицы, сделали ее заметным явлением в польской литературе.

Характерно признание К. Брандыса: «У меня внутреннее сопротивление написанию романа, поэтому я охотнее пишу о себе самом. О том, что я пережил и о том, что происходит. Мне кажется, что сегодня именно "Я" писателя более связывает его с читающей публикой, которую интересуют дневники и для которой автор становится литературным героем» [3]. Брандыс стал литературным героем четырех томов своего дневника "Месяцы" (1978–1987), в котором запечатлены размышления писателя о политических и культурных событиях в стране с конца 70-х годов, побудивших его присоединиться к демократической оппозиции коммунистическому режиму, а также воспоминания о личной жизни.

Автобиография положена в основу многих значительных произведений: Тадеуша Ружевица "Приготовление к авторскому вечеру" (1971); Мирона Бялошевского "Доносы действительности" (1973), "Рассыл" (1980); Марии Кунцевич "Фантомы" (1971), "Натура" (1975) и "Диапозитивы" (1985); Анджея Кусьневича "Смесь нравов" (1985); Адольфа Рудницкого, "Краковское предместье на десерт" (1986) и многих других.

Дневник писателя является несущей конструкцией романа Е. Анджеевского "Крошево" (1979); Важным документом эпохи стали и книги-дневники писателя "Игра с тенью" (1987), "Изо дня в день. Литературный дневник 1972–1979" (1988).

И. Неверли в книге "Остатки от пиршества богов" (1986) припомнил красочные эпизоды своего детства и юности, которые он провел в России в переломные для нее революционные годы (попав в Россию в 1915 г., Неверли бежал в Польшу в 1924 г., спасаясь от ссылки на Соловки). Эпизоды эти – из жизни будущего писателя в Симбирске, Пензе, Киеве – вписаны в большой контекст истории русской революции, последствия которой драматическим, а то и трагическим образом, сказались на судьбах сотен миллионов людей. Автобиографический характер имеет и книга Неверли "Беседа в саду 5 августа" (1978) – в день, когда в 1942 г. директор детского дома, врач и педагог Януш Корчак со своими воспитанниками погиб в гитлеровском лагере смерти. Книга и посвящена воспоминаниям о Корчаке, с которым Неверли работал в 1936–1939 гг.

Многотомный цикл воспоминаний "Полвека" в 1961–1987 гг. опубликовал Е. Путрамент. В них, окрашенных личными пристрастиями в оценках людей и событий, содержится много любопытных (хотя и субъективно трактуемых) фактов, деталей, анекдотов из "коридоров власти" и Союза польских писателей. Можно назвать также три тома воспоминаний Х. Фоглера "Автопортрет по памяти" (1978–1981); "Мемуары" (1976) М. Хороманьского; "Другие сферы" (1979) Х. Ворцеля; двухтомный "Дневник моих книг" (1978; 1983) Р. Братного и книги многих других писателей.

Большой читательский успех имел "Дневник" З. Налковской. В 1970 г. была издана его часть – "Дневник военных лет", исповедь человека, остро чувствующего народную трагедию, на фоне которой бледнеют многие горести. Дневник Налковской ближе всего к автобиографическому роману, тема которого – человеческая судьба в годы военных испытаний – раскрывается в мыслях, чувствах, поступках героини. Неслучайно критик Р. Матушевский сравнил его с "большим современным романом, насыщенным содержанием и богатством проблематики" [4]. Всего в 1975–2001 гг., было издано шесть томов "Дневника" З. Налковской, охватывающих жизненный и творческий путь писательницы с 1899 по 1954 гг.

Особо следует сказать об автобиографических произведениях Т. Конвицкого: "Календарь и клепсида" (1976), "Восходы и заходы луны" (1982), "Новы Свят и окрестности" (1986), "Вечерние зори" (1991), "Памфлет на себя" (1995). Именно в них наиболее рельефно проявились особенности того направления в современной польской прозе, которое польская критика (Т. Ныч) определила, как "сильвическое" (от *silva regum* – лес, изобилие вещей). Оно восходит к старопольским рукописным сборникам, содержавшим обширный и разнородный материал политического, литературного, семейного характера (прозу, стихи, речи, письма, анекдоты, заметки о соседях, погоде, природе и др.). Современные "сильвы" ускользают от точных жанровых определений, они существуют в гибридных, дезинтегрированных формах, в них подчеркнут скорее процесс написания, а не его итоги, в них переплетаются высокое и обыденное, надежды и сомнения, предчувствия и прогнозы, правда и выдумка – в целом создающие индивидуальную форму отношений человека с миром.

О своих намерениях Конвицкий говорил так: «Теперь имеется большой спрос на литературу факта. Для моего творчества таким фактом являюсь я сам, и в то же время оно в целом является формой бегства. Бегства в конструкцию, в абстрагированный мир. При всем том я страшный обманщик. Я лишь притворяюсь, что я – этот "факт", поскольку спрос на факт висит в воздухе» [5. S. 237]. Неслучайно Т. Конвицкий называл свою книгу "Календарь и клепсида" "лже-дневником" и "автобиографическим апокрифом".

Конвицкий родился в Новой Вилейке, учился в Вильно в гимназии, в 1944–1945 гг. был в партизанском отряде Армии Крайовой, действовавшим на территории Виленщины и Белоруссии. Эти жизненные обстоятельства во многом определили тип его

художественного сознания, сформировавшегося как на стыке разноликих национальных языков и соответствующих им национальных образов мира, так и на стыке времен: безвозвратно уходящего в прошлое быта польских "кресов" (бывших восточных окраин Польши) и наступления нового их бытия в составе советских республик.

Этнический, религиозный, культурный конгломерат региона стал для Конвицкого "малой родиной", воспоминания о которой образуют магнетическое ядро многих, если не большинства, его произведений. Эти произведения характеризует, по словам самого писателя "настойчивый поиск смысла в собственной биографии, поиск гармонии, порядка" [6. S. 253]. В разных своих произведениях писатель создает варианты одной и той же биографии, символической биографии своего поколения, утратившего идилическую Аркадию детства.

Над сознанием Конвицкого тяготеет жестокий опыт военных лет, ставший уделом молодых воинов Армии Крайовой, дезориентированных ходом истории и вошедших в жизнь с ощущением личного поражения. К этому присоединяется чувство враждебности современной польской жизни, лишенной подлинной свободы, воспринимаемой в полусне, в гротескной оболочке, противопоставленной чувственно-конкретным картинам прошлого, которые наполнены символическим значением. Прошлое, молодость – вот куда устремляются мыслью и мечтой писатель и его герои – в мир, в котором, кажется, существовали еще общепринятые нормы морали, человечности, справедливости. Помещенные в иное пространство писатель и его герои теряют точку опоры, теряют свою этническую и культурную идентичность.

Аркадия, какой была для писателя и его героев малая родина, утрачена безвозвратно. Речь идет у Конвицкого не столько о политической утрате, сколько об исчерпанности культурных и этнических ценностей, о чем писатель непрестанно размышляет в своих произведениях. Начало этому процессу положила война. "Мы увидели, что мир, в котором мы живем, мир какого-то порядка, лада ничего не значит. Все на наших глазах распалось, все в наших глазах было скомпрометировано (...). А затем настало новое время – социализм. И многие наши ценности долго догорали (...). Именно на наших глазах распалась вся та интеллектуально-эмоционально-эстетическая формация, в которой мы жили" [6. S. 250]. Утрата страны детства стала для писателя источником поэтического мифа идеальной родины, а также, как в дневнике "Восходы и заходы луны", основой для антирусской фобии: "Поляки дольше всех бьются с дьявольским русским империализмом. Поляки навечно приговорены Москвой и православием к государственной и национальной смерти" [7. S. 96].

На примере автобиографических произведений Конвицкого хорошо просматривается такая важная структурная особенность современной польской литературы "человеческого документа", как ее подчеркнутая обращенность к адресату, к читателю. А также поставленная автором задача "разыгрывания" в тексте подлинных или вымышленных фактов своей биографии и воспоминаний о них, которая в современной литературе, по наблюдению В.Н. Топорова, "необычайно стимулировала расширение возможностей художественной литературы, сам круг доступного ей, и привела к открытию того, что было названо *память сердца*" [8. С. 68].

М. Черминьская установила, что поворот польской мемуаристики от ранее существующих ей форм "свидетельства" и "интроспекции" к игре с читателем, к вызову брошенному читателю, впервые осуществлен В. Гомбровичем. Его "Дневник" в сущности являет собой "растянутое на десятилетия *письмо*, обращенное к современникам и потомкам" [9. S. 54]. "Вызов", по мнению М. Черминьской, отличается от "свидетельства" и "интроспекции" прежде всего тем, что вместо соотношения "я – мир" или "я – я" ставит на первый план соотношение "я – ты". Разумеется, мысль об адресате всегда присутствовала в "человеческом документе": нередко в нем появлялось и прямое обращение к адресату. Однако Гомбрович был первым в польской литературе, кто принципиально ввел адресат в структуру текста.

Стратегия игры с читателем, допускающая мистификации и провокации, осуществленная Гомбровичем в "Дневнике", оказала влияние на многих польских авторов.

Это относится к дневникам Конвицкого, Анджеевского, Херлинга-Грудзинского, К. Брандыса и других писателей. Стремление к соучастию читателя в процессе авторских размышлений привело не только к возрождению "сильвических" форм, но и к смене в них традиционного адресата: происходит поворот от элитарного читателя к массовому. "Я целиком из вас", – писал Конвицкий в "Календаре и клеписдере", обращаясь к читателям [10. S. 148]. "Я похож на всех вас, умных и глупых, великих и малых, святых и грешников" [11. S. 54] – продолжал он в книге "Новы Свят и окрестности".

После Второй мировой войны, в 40–70-е годы польская литературная критика надеялась на появление большого реалистического романа, в котором нашли бы многостороннее отражение современные польские судьбы. О таком романе мечтали в разные десятилетия выдающиеся критики – К. Выка, Я. Котт, С. Жулкевский, В. Мачёнг, А. Киёвский, Т. Бурек и другие. Надежды эти пока не осуществились (и вряд ли осуществятся). Но пробел этот во многом восполнила именно литература "человеческого документа" – литература открытого авторского присутствия, которая ведет разговор о человеке в истории не менее правдиво и глубоко, чем литература вымысла.

Логика развития польской литературы второй половины XX в. ведет к синтезу литературы вымысла и литературы документа. Проницательный критик К. Выка еще в 1969 г. прогнозировал появление в будущем некоего синтетического жанра, Великой книги, которая «будет похожа на роман, но не будет "чистым" романом. Войдет в нее масса не спрятанного под паутиной фабулы, необработанного материала, документов, достоверных источников, высказываний, заявлений, возражений самому себе. Большую роль в ней будут играть личные размышления, суждения, ирония автора, неизвестного нам пока по имени. Без фабулы, к сожалению, не обойтись. Но автор Великой книги переступит порог, отделяющий выдуманную, приумноженную, повторяемую за другими фабулу от подлинника» [12]. Пока что никто из польских писателей не взялся за создание такой книги, хотя приблизиться к очерченному Выкой идеалу попытался Е. Анджеевский в романе "Крошево".

Но "человеческий документ", а также эссе, в которых возникают взятые из жизни (или сконструированные) образцы человеческого поведения, моральные ситуации, а авторы открыто размышляют об истории, искусстве, литературе, о диалектике исторических и обыденных фактов играют в польском литературном процессе 70–90-х годов XX в. авангардную роль. С одной стороны, они обеспечивают литературе и ее читателю в единстве этого процесса коммуникации выход из постмодернистского тупика субъективизма, с другой – накапливают изобразительные "мощности" для возвращения на новом витке к литературе вымысла, ибо вымысел, видимо, все-таки является самой оптимальной и высшей формой художественной интерпретации, поскольку способен представить одновременно необходимую для приближения к истине множественность точек зрения на мир и человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971.
2. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч., т. 23. М., 1981.
3. Exlibris. Dodatek do "Życia Warszawy", wrzesień 1995.
4. Polityka. 1970. № 51/52.
5. Nowicki S. Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim. Warszawa, 1990.
6. Taranenko Zb. Rozmowy z pisarzami. Warszawa, 1986.
7. Konwicki T. Wschody i zachody księżycy. Warszawa, 1982.
8. Новое литературное обозрение. 1993. № 3.
9. Czermińska M. Autobiografia jako wyzwanie (o "Dzienniku" Gombrowicza) // Teksty. 1994. № 1.
10. Konwicki T. Kalendarz i klepsydra. Warszawa, 1976.
11. Konwicki T. Nowy Świat i okolice. Warszawa, 1986.
12. Życie Literackie. 1969. № 29.



© 2002 г. И.А. ГЕРЧИКОВА

ЧЕХИ В РОССИИ: ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 1867 г. состоялось знаменитое "паломничество чехов в Москву" (pout' Āechů do Moskvy), на этнографическую выставку, когда они получили аудиенцию у царя Александра II. Вскоре после этого русское правительство создало льготные условия для переселения колонистов в Россию. Большое количество чехов, стремившихся уйти от нелегких условий жизни в Австро-Венгрии, переживавшей вместе со всей Европой кризис и глубокую экономическую депрессию, продолжавшуюся до 1879 г., устремляется в страны, где было много свободной земли и имелся огромный экономический потенциал: США, Бразилию, Россию. Началось небывалое переселение более 30 тыс. чехов, в основном безземельных крестьян, на Северный Кавказ, Волынь и в другие области России. Помимо юга России, колонии чехов образуются в Москве, Петербурге, Киеве [1].

Судьбы чешских крестьян-поселенцев и представителей интеллигенции (учителя латыни, греческого и немецкого языков, музыканты и др.), которых было много в России уже во времена К. Гавличека-Боровского в 1840–1850-е годы, складывались самым разным образом; они причудливо переплетались с судьбами русского народа, оставляя заметный след в развитии его культуры, науки, формировании политических пристрастий. Достаточно вспомнить особо прославившихся дирижеров и композиторов Э. Направника (1849–1916), В. Главача (1849–1911), скрипача Ф. Лауба (1832–1875), певца Й. Палечека. А от них тянется нить уже к нашему времени, к Ружене Сикоре, замечательной певице, звезде советской эстрады, сохранившей и свою характерную чешскую фамилию, и национальные черты.

На рубеже XIX–XX вв. новый поток чехов устремляется в Россию, теперь они в основном сохраняют австро-венгерское подданство. Эта вторая волна колонизации достигает своего апогея во времена столыпинской реформы. Как отмечает И. Савицкий, точно неизвестно, сколько было этих "новых чехов", каков их социальный состав, во всяком случае, это были десятки тысяч, и уже не крестьяне, а предприниматели и средние технические кадры [2. S. 17]. Вторая волна дала России генералов К. Кутлвашра, М. Немеца, Я. Червинку, известных промышленников Б. Чермака, Ф. Дедину, врача и политика В. Гирсу.

Герчикова Ирина Александровна – канд. филол. наук, научный сотрудник Центра истории литературы до 1945 г.

Культурным связям двух народов в XIX в. и предшествующий период посвящены книги К. Ровды, Л. Кишкина, И. Бэлзы (библиографию см. в [3; 4]), исследовавших главным образом литературные взаимоотношения, контакты музыкантов и художников, процесс усвоения чешской культуры в России и русской в Чехии. Общению культур в XX в. также уделено достаточное внимание. Этнографические аспекты отражены, например, в докторской диссертации К. Пушкаревича "Чехи в России" (защита в 1940 г.). Официальные, политические взаимоотношения в межвоенный период, в годы Второй мировой войны и новейший период детально изучались историками [5]. Широко освещалась жизнь русской эмиграции в Чехии после 1917 г. (работы Л. Шкаренкова, М. Назарова, М. Разэфа, М.Ц. Путны, М. Задражиловой, В. Вебера, И. Савицкого) [2. S. 263–265]. Но существует известная диспропорция в исследовании материала – гораздо больше разработаны, например, темы усвоения русской культуры в Чехии, русской эмиграции в Праге, нежели чешской в России и др. Кроме того, практически не изучены неофициальные стороны русско-чешских отношений, мало известно о том, как складывались конкретные судьбы чехов, что волею судьбы оказались вдали от отчизны и для которых Россия стала родным домом.

В 90-е годы XX в. по вполне понятным причинам начался обратный отток чешских переселенцев из России; в течение 1995–1999 гг. практически полностью потомки волынских чехов, чехи из Казахстана, Грузии и других точек бывшего Советского Союза возвращаются на родину предков. Когда открылись возможности возвращения в Чехию, потомки первопроходцев, уже не владеющие чешским языком, давно утратившие связи с родственниками и практически обрусевшие, особенно не задумываясь, легко расстаются с землей, на которую прибыли когда-то с надеждой на новую, счастливую жизнь их отцы и деды. Слишком многое пришлось пережить в XX в. тем, что прибыли в поисках лучшей жизни в теплые края, а их потомки позднее были раскулачены, депортированы, сидели в концлагерях, и местом рождения их детей становились Магадан и Караганда, воевали на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн.

Но уехали или затерялись на просторах нашей родины далеко не все чехи, в чем смог убедиться в июне 2001 г. автор данных заметок, познакомившись с деятельностью чешского землячества. Общество "Наздар" было официально зарегистрировано в Новороссийске в августе 2000 г., объединяет оно сегодня около 200 человек (а всего, по разным оценкам, этнических чехов в Краснодарском крае около пяти тысяч). В самом Новороссийске и его окрестностях живут до сих пор и не помышляют об отъезде на историческую родину десятки семей, сохранивших язык, традиции, культуру своего народа, оберегающих семейные реликвии и ухаживающих за могилами, на которых на чешском и русском языках выведены фамилии Гейдук, Ержабек, Швец и т.д.

В 1992 г. местная газета с удивлением сообщала об "археологической находке": "В районе Глебовки обнаружены памятники чешским поселенцам. Надгробия, относящиеся к 80-м годам прошлого века, давно заброшены и потеснены разрастающимся современным кладбищем" [6. 1992. 2VI]. Ни слова о тех, кто за этими памятниками ухаживает и мечтает о создании своего национального общества. Тогда это казалось еще нереальным. За 70 лет советской власти было сделано все, чтобы чехи забыли о своем происхождении. Впрочем, здесь сыграли роль и другие факторы: из-за родства языков чешская колония в России и в XIX в. с большим трудом, нежели, скажем, в США, сохраняла свой чешский. Первые поселенцы также насильно обращали в православие. Когда чешские легионеры в 1914–1920 гг. издавали свои газеты и журналы, они, будучи в основном потомками эмигрантов первой и второй волн или во всяком случае долгое время связанными с Россией, писали на языке, напоминавшем зачастую тот же русский, переданный латинскими буквами. Такой смешанный вариант используют и современные русские чехи. Фактом остается то, что сегодня в США больше чехов, потомков первых переселенцев, знают родной язык, чем в России.

Но они есть и в нашей стране, и "заметили" их лишь в самом конце 1990-х после их неоднократных обращений в разные инстанции, в том числе к Президенту Чешской Республики В. Гавелу. Весной 2001 г. Новороссийск посетил посол ЧР в России Я. Башта. Он слышал здесь родную речь, народные чешские и моравские песни, пробовал кнедлики, коблиги с маком, а после застолья к нему обратился местный житель и со слезами на глазах просил исправить в своем паспорте фамилию Ружичко на Ружичка. «Здесь же указано в графе "национальность", что я чех!» Да, они становились постепенно русскими, украинцами, приобретали непереносимое отчество, Кабрт становился Кабардой, Грах – Гороховым, Коварж – Ковалем. "Почему же вы не заявили о себе раньше? А почему не протестовали в 68-м?" – с возмущением вопрошала чешская корреспондентка, также с удивлением обнаружившая своих земляков за тысячами километров на юг от Москвы. Насколько же поверхностно знание истории России XX в. у журналиста, не способного должным образом оценить столь простой и исчерпывающий ответ З. Тренды, председателя "Наздар": "Мы боялись, что нас неправильно поймут. А не протестовали потому, что такая была жизнь...". С конца 1920-х годов их жизнь складывалась непросто. А ведь когда-то все было иначе...

Первые чехи прибыли в Новороссийск в 1869 г. Триста шестьдесят семей привезли из Одессы пароходы Русского общества пароходства и торговли. Самые первые чешские поселения были названы Кирилловка, Мефодиевка, Владимировка, Глебовка (названия сохранились до сих пор). Через два года появились новые партии колонистов; многие семьи добирались самостоятельно, затратив на дорогу на лошадях долгие месяцы, многие умерли в дороге. После 1874 г. поток переселенцев ослаб из-за того, что льготы для чешских земледельцев были отменены. По переписи населения 1897 г., в Волынской губернии проживало 28 тыс. чехов, владевших более 30 тыс. га земли. В Новороссийске, основанном в 1838 г., к 1901 г. население составляло 23 372 человека, из них 270 чехов, в окрестных деревнях – еще 619; по переписи 1906 г., 305 и 1148 человек соответственно. В современном Краснодарском крае находилось второе по численности, после Волыни, компактное чешское поселение. В Черноморском округе, по данным 1926 г., проживали 2 600 чехов, имелось семь чешских школ [7].

Колонисты начали осваивать этот край в суровых условиях: жили в землянках, где зимой было сыро и холодно, а летом приходилось спасаться от змей, мошкары и диких свиней. Коллективно занимались раскорчевкой леса, устраивали заграждения для защиты посевов, постоянно жгли костры, охраняя поля и виноградники. Благодаря своему упорству и трудолюбию поселенцы в короткий срок обжились на новом месте. К. Ровда отмечает, что "безземельные русские крестьяне не могли конкурировать с чешскими хлебопашцами, располагавшими большими возможностями. (...) Между состоятельными колонистами и беднейшими местными крестьянами возникла атмосфера недоверия..." [3. С. 61]. На самом деле прибывшие в Россию чехи были не богаче российских крестьян. Чехи быстро становились "состоятельными колонистами" именно в силу своего трудолюбия, организованности. Они начали строить мельницы (одна из таких мельниц на реке Цемес работала вплоть до 1940-х годов, обслуживая прилегающие деревни), первыми стали применять для вспашки полей легкие плуги собственного изготовления (до них русские и другие поселенцы использовали тяжелые орудия труда, выворачивающие на поверхность плодородный слой), удобрение полей, полив и устройство лесозащитных полос. Они многое сделали для развития культуры сельского хозяйства, особенно в виноградарстве, садоводстве, овощеводстве. В табаководстве чехи превзошли даже греков, считавшихся в этой области большими специалистами.

Особенно много в этом отношении сделал для Черноморского побережья окружной агроном Черноморского округа Франц Иосиф Гейдук (род. в 1832 г., в России стал называться Федором Ивановичем Гайдуком), приглашенный на эту должность в 1867 г. Вывезя из Германии 20 тыс. лоз для белого и красного вина, он

¹ Сведения получены в ходе личных бесед автора статьи с членами общества "Наздар".

высадил их в специальный питомник удельного имения Абрау Дюрсо. Этим было положено начало разведению виноградников и промышленного производства вина на Черноморье и Кубани, имение Абрау Дюрсо стало базовым для массового производства вина, а в дальнейшем и знаменитого русского шампанского. В 1884 г. Гейдук был направлен на государственную службу в Восточную Сибирь. Возвращаясь туда из отпуска в 1890 г. он по дороге умер [8].

Родной брат Франца Адольф Гейдук (1835–1923) был известным поэтом, в 1884 г. он посетил Кавказ и Крым и под впечатлением от этого путешествия написал позднее цикл стихотворений. Сын знаменитого агронома Ярослав посещал историко-филологический факультет университета в Одессе, где из-за "крамольных идей" не приняли к защите его диссертацию о Я. Рокицане, а позднее продолжил дело отца, закончив в Харькове сельскохозяйственную школу и став агрономом по области Северного Кавказа. Славное имя Гейдука (Гайдука) сохранилось до сих пор в названии поселка близ Новороссийска, а первоначально в 1904 г. так была названа станция Владикавказской железной дороги. В поселке Гайдук в настоящий момент живет и председатель чешского общества "Наздар" Зинаида Тренда. Сейчас общество мечтает о создании в городе памятника Гейдуку.

Чехи внесли значительный вклад и в развитие промышленности, особенно пищевой и пивоваренной. В Мефодиевке была известная на всю округу колбасная фабрика Сobotки, а Ярослав Востры построил в 1899 г. пивоваренный завод "Славия", работавший до конца 1960-х годов. Цементная промышленность в районе Новороссийска обязана своим развитием соотечественнику и другу Ф. Гейдука профессору-химику О. Кучере, который после опытов с имевшимся в избытке природным сырьем, горной породой "мергель", получил твердую камневидную массу – первый новороссийский цемент. Это явилось толчком для строительства в Новороссийске и прилегающих районах десяти заводов и позволило России занять третье место в мире по производству цемента в 1910–1913 гг., а в 1950-е годы выйти на первое место.

Многое сделал для Новороссийска главный лекарь Черноморского округа Михаил Францевич Пенчул, который прибыл в эти края вместе с Гейдуком. В январе 1896 г. состоялись выборы, и М. Пенчул был избран городским головой. Он же являлся председателем городской думы и городской управы. За короткий срок управа под его руководством осуществила очень многое для благоустройства и развития Новороссийска и всего края: началось мощение улиц и их освещение керосиновыми фонарями, был пущен первый в городе и на юге России "кинематограф", построены первые водо- и грязелечебницы, стали выходить газеты "Новороссийский листок" и "Черноморское побережье", построены храмы. В знак признания заслуг Пенчула одна из улиц города была названа его именем (теперь это ул. Манченко, и "Наздар" хотел бы вернуть улице ее первоначальное название).

Помимо достижений в сельскохозяйственной и промышленной сферах чехи привнесли многое в культурную жизнь Кубани. По сравнению с другими поселенцами чехи уделяли огромное внимание музыке и спорту. В каждом селе был свой самостоятельный оркестр, службы в костеле проводились соревнования. Среди детей культивировались занятия музыкой в полном соответствии с поговоркой: "Что ни чех, то музыкант".

Следует особо сказать о роли сокольских организаций, действовавших по всей территории России, там, где проживали чешские колонисты. Сокольство возникло как массовое спортивное движение, начало которому было положено в Праге М. Тиршем и И. Фигнером в 1862 г. В России группы сокольников являлись более сильным связующим звеном между земляками, нежели религиозные объединения, игравшие относительно серьезную роль лишь на Волыни. Сокольцы в России видели свою задачу не столько в "поддержании культуры тела" [9. С. 26], сколько в сближении чехов и русских. Чехов воспринимали в России как единоверцев поляков. С последними отношения исторически складывались весьма непросто. Из-за этого и к чехам проявлялось недоверие.

Так уже складывалось, что переселенцы, уезжавшие в США, думали прежде всего о заработке, а те, что устремились в Россию, помимо естественного желания разбогатеть, думали и о "славянской идее". Это особенно сильно проявилось с началом Первой мировой войны. В 1914 г. консульства Австро-Венгрии начинают собирать своих подданных и призывать их к мобилизации. К этим призывам остались глухи десятки тысяч чехов, живших в России. Те, что стали уже ее гражданами, отдали себя в распоряжение российской армии. И. Клецанда, секретарь Петроградского чехословацкого общества, составил политический меморандум, с которым его самого и коллег принял император Николай II. В августе 1914 г. в Киеве формируется чешская дружина, а 28 августа первые 800 добровольцев дружины принимают присягу. Учитель физкультуры из Екатеринодара, некогда направленный в Россию в числе других двухсот сокольских представителей, будущий легендарный полковник Й. Швец, пишет 31 августа в письме своим родителям: "Это честь, сокольская честь, которую нельзя замарать, идти в бой за свободу нас, чехов. Позором будет, если я, посланный в Россию для того, чтобы была растоплена ледовая крепость русских, недоверие к славянству и особенно к нам, останусь дома и не помогу, пусть даже это стоит жизни, в борьбе за святое дело" [2. S. 20]. (В октябре 1918 г., когда легионеры, поддавшись большевистской пропаганде, не выполнили его приказа о выступлении на фронт, Швец покончил с собой.) В Новороссийске по инициативе инженеров Ф. Марека и В. Гусника также формируется чешская дружина. Командиром ее становится все тот же Я. Гейдук. (В 1918 г. он погиб под Туапсе, по неподтвержденным данным был застрелен пьяным матросом-анархистом; похоронен Я. Гейдук в Новороссийске на Владимирском кладбище, а за его могилой ухаживает до сих пор старая чешка по фамилии Бразда.) В кубанскую дружину вступили даже четыре женщины.

Чешская дружина становится полком русской армии. После сражения у Зборова в июле 1917 г. позиции чехословацких войск усилились настолько, что в октябре возникает Чехословацкий армейский корпус, подчинявшийся сначала русскому командованию, а потом начавший действовать самостоятельно. В мае 1918 г. Троцкий приказывает корпусу сдать оружие и начать расформирование. Некоторые солдаты переходят в Красную Армию, часть войск возвращается в строй и воюет с большевиками. Последние легионеры вернутся домой лишь в конце ноября 1920 г. Долгий путь Чехословацкого легиона, его история – это особый материал, который, несмотря на труды А. Клеванского, Й. Куделы, И. Фидлера, свидетельства писателей-легионеров Р. Медека, Й. Копты и других еще не до конца изучен и ждет своего исследователя, который смог бы собрать воедино все старые и то и дело всплывающие новые факты (библиографию см. в [10]).

Мировая война и революция разбросали легионеров (из числа тех, что жили в России, и из военнопленных) по всей стране. Большинство из них вернулось в Чехословакию, но в Новороссийске и других городах оставались сотни семей. Они еще не знали, что ждет их. В 1927 г. ликвидируется Чехословацкое общество, которое долго и успешно защищало интересы чехов на Кубани, способствовало их сплочению и сохранению своей культуры. Закрываются Союз чехословацких объединений в России, театральные коллективы, чешские школы, в зданиях костелов обустроиваются комсомольские ячейки. К началу Великой Отечественной войны чехов остается на Кубани все меньше и меньше. Ставшие к тому времени в большинстве своем зажиточными, они в первую очередь подлежали в годы коллективизации раскулачиванию и высылались в глубь России, в Сибирь. Не обошли их стороной и репрессии. Любого жителя с "непонятной" национальностью легче всего было записать в шпионы. С началом Отечественной войны многие чехи ушли на фронт защищать свою вторую родину, воевали даже в 4-м гвардейском Кубанском кавалерийском корпусе генерала Н.Я. Кириченко. Подавляющее большинство из призванных в армию и воевавших в корпусе генерала Л. Свободы, участвовавшего в освобождении Чехословакии, остались там, некоторые забрали и свои семьи.

В годы войны в окрестностях Новороссийска некоторое время были немцы. Елизавета Халупа, живущая до сих пор в Кирилловке, вспоминает: "В войну немцы восстановили наш костел. Мы ходили туда. Потом его закрыли, сделали Дом культуры. (...) Вообще-то именно в войну мы все крепко сплотились, были как одна семья: женились и селились рядом, помогали друг другу, а беда пришла, мужчины на фронт ушли, немцы наступали, прямо с гор стреляли, дома поджигали. Скот угнали, и нас тоже собирались куда-то отправить. Гнали до Тоннельной, да не успели: наши пришли. И мы со своими тележками столько дорог прошагали, столько горя натерпелись, женщины да дети! Вернулись в родную Кирилловку, а тут все заминировано, разрушено" [11]. Те, кого угнали на работы в Германию и кто выжил, остались в Западной Европе.

Так сократилась до минимума чешская диаспора. После войны практически все молодые люди вступали в смешанные браки, ассимилировались, языком уже не владели. "Мы-то язык свой знаем, говорим между собой по-чешски, песни поем, кое-какие обряды еще помним, дети нас понимают, но уже по-нашему не говорят", – рассказывала Мария Коваль [11]. Хранителями языка остаются в Новороссийске и прилегающих деревнях пожилые люди. Частные дома чехов выгодно отличаются от всех остальных: они крепкие, свежевыбеленные, с ровной оградой и ухоженными палисадниками. Семья Кабарды выращивает самые красивые цветы во всей округе, Александр Тренда, чьи предки приехали на Кубань из Южной Моравии, а он сам родился на Колыме, прославился благодаря великолепным винам собственного изготовления. Русские соседи свидетельствуют: у чехов всегда были самые добротные дома, дает в их семьях воспитанные, люди все порядочные, незлобивые. В той же Кирилловке, где когда-то проживали одни чехи, все больше появляется семей из Закавказья, Чечни, Татарии. Демографическая ситуация здесь в миниатюре отражает общую по стране. У чехов по одному–два ребенка, у новоприбывших все больше четверо–пятеро детей. Легко представить, каково будет через десяток лет соотношение потомков первых поселенцев, ставших жителями края, и вновь прибывших, говорящих на родных языках. Павел Лузум, который отметил уже свое 90-летие, говорит: "За все 130 лет жизни чехов в Новороссийске ни одного из них не осудили за уголовное преступление. Беда в другом. Молодые не знают своего языка, культуры, духовности, хотя старики стараются сохранять традиции. А раньше даже крестьяне знали по 3–4 языка. И это было в порядке вещей. Вот о чем у меня болит душа" [12].

И все же есть положительные сдвиги: образовалось общество "Наздар", молодежь начинает интересоваться чешским языком, для некоторых посольство ЧР организовало учебу в Чехии, стало всячески помогать новороссийцам. Те в общем-то немногие чехи, что остались, пока не собираются уезжать. Они живут на богатой земле, где великолепная природа и море. Несмотря на общее запустение, постоянные перебои с электричеством, водой, нехватку средств ни на ремонт домов, ни на развитие туризма, на котором приморский город мог бы заработать миллионы, Новороссийск начинает постепенно возрождаться. И может быть, именно чешская община этому возрождению будет способствовать, как никакая другая. "Мы патриоты своей земли, – говорит Зинаида Тренда, чей отец погиб в сталинском концлагере в Караганде, – уезжать не собираемся. Среди нас есть предприниматели, музыканты, инженеры. Мы способны и хотим работать. И еще хотим встречаться со своими земляками из Чехии, больше знать о нашей исторической родине. Но не желаем быть никому в тягость. Мы предлагаем всем дружбу и гостеприимство" [13].

Хочется верить, что в России сохранится этот островок чешской культуры с его традициями трудолюбия, порядочности, будут живы чешский юмор и музыка, вновь появится улица Пенчула, и поставят памятник Гейдуку и тысячам его земляков, работавшим и воевавшим на благо России. Они оставались чехами после всех невзгод и испытаний, обращения в православие и советизацию, и они разделили с русским народом его нелегкую судьбу, став частью России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Auerhan J.* České osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. Praha, 1920.
2. *Savický I.* Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách. 1914–1938. Praha, 1999.
3. *Ровда К.И.* Россия и Чехия. Взаимосвязи литератур. 1870–1890. Л., 1978.
4. *Бэлза И.Э.* Из истории русско-чешских музыкальных связей. М., 1956.
5. *Серпионова Е.П.* Российская эмиграция в Чехословацкой Республике. М., 1995.
6. Новороссийский рабочий.
7. Архивная справка. Ф. 4. Сп. 1. Ед. хр. 9 // Архив г. Новороссийска; *Верецагин А.В.* Путевые записки по Черноморскому округу. М., 1874.
8. Письмо Я. Гейдука от 12.06.1972 Музею истории г. Новороссийска
9. *Чапек К.* Беседы с Т.Г. Масариком. М., 2000.
10. *Bradley J.F.N.* La legion tchécoslovaque en Russie. 1914–1920. Paris, 1965. Bibliogr. P. 147–152; *Клеванский А.Х.* Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России. 1914–1921. М., 1965; *Веселы И.* Чехи и словаки в революционной России. 1917–1920. М., 1965; *Велеманова В.* Каталог выставки "Из Чехии на край света. Жизнь чехословацких легионеров в России в 1914–20 гг." Прага, 2000.
11. *Гогелиани Э.* Вот Миколаш в дверь постучит // Новороссийский рабочий. 13 XI. 1995.
12. *Прокопенко Т.* Ни единого уголовного преступления. Интервью с П.М. Лузумом // Новороссийский рабочий. 5 V 1997.
13. Češi v Krasnodarském kraji // České listy. 2001. № 1. Roč. II.



© 2002 г. Л.П. ЛАПТЕВА

**ЙОЗЕФ ПОЛИШЕНСКИЙ (1915–2001).
Памяти выдающегося чешского историка
XX века**

Ни один ученый, интересующийся чешской историей позднего Средневековья и раннего Нового времени, не может, очевидно, обойтись без трудов Й. Полишенского. Он обрел международное признание своими многочисленными и многообразными трудами: опубликовал около 120 книг и бесчисленное количество статей, обзоров, рецензий и т.п. [1]. Свои работы исследователь издавал на чешском, испанском, английском, немецком, русском, французском, итальянском, голландском и венгерском языках, так что его творчество дошло до сознания всемирного исторического сообщества. Международное признание выразилось в избрании его членом академии наук Австрии и Нидерландов, а также в присуждении ему престижной австрийской премии А. Гиндели, в награждении испанским и мексиканским орденами. Обширная библиография трудов историка включает множество учебников и других пособий, публикаций источников, хрестоматий, популярных очерков истории Чехии, т.е. изданий, необходимых для обучения молодежи в средней и особенно высшей школе. Несколько статей Й. Полишенского увидели свет и в советских изданиях [2].

Ни одна из его замечательных книг не была переведена на русский язык. На это были свои причины. Профессор Карлова университета Й. Полишенский не принадлежал к числу фаворитов коммунистического режима Чехословакии, деятели которого, как известно, определяли произведения, "достойные" перевода на русский язык.

Сын лесничего Й. Полишенский родился 16 ноября 1915 г. в г. Простейове, где окончил реальную школу и учился в Высшей торговой школе, уделяя главное внимание овладению языками. После этого он поступил в Пражский университет, на философский факультет, который окончил в 1939 г., в 1940 г. стал выпускником Архивной школы (биографические данные Й. Полишенского заимствованы из его мемуаров, см.: [3]).

Уже во время учебы в университете Полишенский проявлял интерес к истории и филологии. Он изучал испанский, английский, немецкий, французский языки, от-

Лаптева Людмила Павловна – д-р ист. наук, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

лично знал латынь, владел итальянским и русским. Все биографы отмечают исключительную лингвистическую одаренность Полишенского, его удивительную память и феноменальную работоспособность. Автору этих строк посчастливилось присутствовать на международных конференциях, где председательствовал Полишенский, и с восхищением и завистью наблюдать, как свободно и изящно чешский историк переходил с английского языка на французский, с французского на немецкий.

Многосторонность Полишенского отразилась и в его творчестве как историка. Он занимался чешской историей от XVI до XIX в., но, будучи убежден в том, что история наука междисциплинарная, не мог позволить себе ограничиваться изучением истории одного народа, одной эпохи. По его собственным словам, его скорее интересовала вся история цивилизации и культуры. Он всегда стремился исследовать развитие идей толерантности, миролюбия и свободы в мировом масштабе [3. S. 332]. По окончании университета Полишенский работал учителем английского языка в реальной гимназии в Праге (в чешских гимназиях с 1941 г. изучение истории было запрещено). В 1945 г. он был приглашен на должность ассистента исторического семинара, и с этого времени началась его многолетняя всесторонняя деятельность на философском факультете Карлова университета. Полишенский был душой исторического семинара, организовывал выезды студентов на архивную практику в разные районы Чехии, где они участвовали в разборе архивных документов и книг, сохраняя тем самым их богатые фонды (например, в монастырях). В 1947 г. Полишенский представил работу "Англия и Белая Гора" [4] и получил звание доцента всеобщей истории, а в 1958 г. защитил диссертацию "Нидерландская политика и Белая Гора" [5], которая принесла ему степень доктора исторических наук. Профессор всеобщей истории (с 1957 г.) Й. Полишенский проводил огромную педагогическую работу: читал лекции по истории позднего феодализма в Чехии, лекции по истории Англии и Италии, имел большое число учеников, в том числе и из стран Европы, приезжавших на учебу или стажировку в Пражский университет. В конце 1950-х годов оживились международные связи с несоциалистическими странами, Полишенский сотрудничал с немецкими (в том числе западногерманскими) и австрийскими историками. Целый год он провел в научной командировке в Англии.

Иностранные связи Полишенского, как и тот факт, что он уже с 1933 г. являлся членом чехословацкой социал-демократической партии, а также некоторые его работы дали повод марксистским историкам после окончания Второй мировой войны обвинить его в "неопозитивизме" и некритическом отношении к буржуазной науке. Критика Полишенского на партийных собраниях была скорее всего данью времени. Ведь именно в 1957 г. в СССР последовал разгром журнала "Вопросы истории" за "либерализм в исторической науке", и чехословацким историкам надлежало прореагировать на эту кампанию. Все же Полишенский остался профессором и продолжал преподавать студентам и младшим коллегам. По мнению современного чешского историка П. Чорнея, Полишенский не был политически активной личностью в истинном смысле этого понятия. "Осторожность, скептицизм, дефицит романтического энтузиазма и расчет только на самого себя, являлись составной частью его мировоззрения. Эти качества влияли на его научную работу в области истории и поведение в ходе судьбоносных исторических событий. В острых политических ситуациях, когда решался вопрос о будущем государства и народа, Полишенский обычно стоял в стороне, ограничиваясь ролью наблюдателя и комментатора" [6. S. 50].

Мое личное многолетнее общение с профессором Полишенским дает основание лишь отчасти согласиться с приведенной характеристикой. Действительно, Й. Полишенский был скептиком, осторожным и лишенным романтизма, не ввязывавшимся в политические и прочие скандалы, столь распространенные в современном ему обществе. Но он не стремился ни к богатству, ни к карьере, ни к славе. Осветив в своих работах огромный пласт не только чешской, но и мировой истории, ученый даже не удостоился избрания в члены Чехословацкой академии наук, хотя его трудов хватило бы пожалуй для сравнения с деятельностью доброй половины тех лиц

(в сумме их работ), которые занимали академические кресла в историческом отделе ЧСАН. На мой взгляд, жизненной целью Й. Полишенского являлось изучение истории человечества, познание ее глубин и не в последнюю очередь передача результатов своих достижений обществу в форме публикации трудов и воспитания многочисленных учеников. За долгую жизнь у него учились почти все чешские историки двух последних поколений, получивших образование в Пражском, а также в Оломоуцком университетах. Полишенский выше всего ценил профессионализм в деятельности историка, что и принесло ему международное признание. Обладая поистине фантастическим знанием архивных материалов не только Чехии и Словакии, но и Германии, Англии, Франции, США и стран Латинской Америки, изучив материал огромной иностранной литературы, ученый использовал в своих трудах компаративистский метод исследования, чередуя макро- и микроисторические изыскания. В литературе отмечаются его огромные познания в области исторических фактов, способность к исторической комбинаторике и внимание к деталям проходящих процессов. Вместе с тем в качестве недостатков указывается на меньшее внимание к синтезу и философским обобщениям [7. S. 118].

Не являясь автором в области методологии исторической науки, Полишенский тем не менее необычайно расширил шкалу исследовательских тем, что объясняется его пониманием чешской истории как органической части истории европейской и мировой [6. S. 51].

После печально известных событий в Чехословакии 1968–1969 гг., в которых Полишенский не принимал участия, но вполне сочувствовал оппозиции социалистическому режиму, профессор был в результате так называемой проверки специальной комиссией исключен из компартии, в которой он оказался в результате слияния ее с партией социал-демократов, и в 1971 г. переведен с кафедры всеобщей истории и древностей в Центр ибероамериканских исследований при кафедре этнографии и фольклора. Основанием для такого перемещения явилось мнение проверочной комиссии, что с точки зрения процесса консолидации в стране, а также в аспекте научно-педагогическом, Полишенский на кафедре всеобщей истории является фигурой "нежелательной", но все же может вести научную работу в Центре ибероамериканских исследований на философском факультете Карлова университета [8. S. 7]. Таким образом, после более чем двадцатилетней весьма успешной педагогической работы профессор был отстранен от общения со студентами Карлова университета и вплоть до ухода на пенсию занимал должность старшего преподавателя. Впрочем публикация трудов ему запрещена не была (как это имело место в отношении других историков, исключенных из партии), разрешалась и педагогическая деятельность. Продолжал он выезжать и за границу, в том числе в Чили и США. В октябре 1976 г. профессор Полишенский в течение месяца читал курс лекций о европейско-латиноамериканских связях XVI в. на кафедре новой и новейшей истории МГУ им. М.В. Ломоносова. Как вспоминают участники чтений, лекции были насыщены интересным, неизвестным до этого материалом, читались на испанском языке и привлекали большую аудиторию. Лекции посещались испанистами кафедры – студентами и преподавателями, а также стажерами из латиноамериканских стран, всего до 20 человек. Кроме того, Полишенский проводил беседы по научным проблемам предмета чтения. Благодарные слушатели добились награждения профессора грамотой¹.

Эти обстоятельства дали основание некоторым современным историкам утверждать, что дискриминация Полишенского в ЧССР не имела политической подоплеки, что ученый был способен работать при любом режиме без особых проблем, и преследования его со стороны властей объясняются завистью и интригами коллег [6. S. 50]. Мне представляется возможным, что интриги действительно имели место, но и поли-

¹ За предоставление свидетельств о лекциях Полишенского в МГУ выражаю благодарность профессору кафедры новой и новейшей истории МГУ д-ру ист. наук А.И. Строганову.

тические причины сыграли свою роль в отстранении профессора от студенческой аудитории.

Библиография трудов Полишенского включает около тысячи названий. Это научное наследие чрезвычайно разнообразно как по тематике, так и по жанрам. Ученый выступает как исследователь, просветитель, информатор обществу, критик и т.д. Весьма широк хронологический диапазон затронутых им сюжетов – от средневековых до современности. Незаурядный знаток архивных источников, ученый выпустил целый ряд крупнейших трудов. Кроме работ по чешской истории он написал "Историю Британии" [9], "Историю Латинской Америки" [10], труды об Испании, США, о революции на Кубе, исследования и популярные сочинения о политическом развитии ряда стран Латинской Америки и вообще Американского континента.

Разумеется, нет возможности осветить в небольшой работе все стороны творчества Й. Полишенского. Остановимся на его вкладе в изучение истории Чехии, выделив из обширного комплекса те проблемы, которые, на мой взгляд, наиболее важны.

Первый обширный цикл работ историка посвящен вопросу о социально-политическом кризисе в Чехии конца XVI – первой половины XVII в. и Тридцатилетней войне. Укажем прежде всего на то, что Полишенский создал источниковую базу по истории этой войны. Отличаясь необычайной осведомленностью в архивных материалах, ученый активно публиковал открытые им или уже известные, но еще не напечатанные источники. Так, в 1948 г. вышел его сборник с текстами моравских хроник XVII столетия [11]. Многие важные документы опубликованы в "Хрестоматии по истории Чехословакии" [12], а в 1964 г. изданы части из известных сочинений Ондreja из Габернфельда и Павла Скалы из Згоры о чешском восстании 1618–1620 г. [13]. С 1971 по 1981 г. по инициативе ученого увидело свет монументальное собрание документов в семи томах [14]. Полишенский не только подготовил и осуществил это издание, но и был и автором его первого (вводного) тома – выдающейся работы о Тридцатилетней войне [15]. Издание осуществлено на немецком языке (документы на языке оригинала) и приобрело международную известность.

Первой монографией Полишенского по указанной проблеме явилась его книга "Англия и Белая Гора" [4]. Это была первая попытка изложить – на основе большого источникового материала чешских и зарубежных архивов – сущность чешского восстания и его иностранных связей в рамках социально-экономического и политического развития европейских государств. Именно в их социально-экономических и политических устремлениях Полишенский видел побудительные причины Тридцатилетней войны, которую он понимал как всеобщий военно-политический конфликт. В нем проявились противоречия тогдашней Европы как явления континентального значения, обусловленные предшествующим экономическим и социальным развитием. Это время Полишенский характеризовал как период кризиса и революций, в ходе которых создавались основы новой Европы, изменялись структуры европейского общества и расширялись перспективы его дальнейшего развития. Антигабсбургская борьба чехов как классическое сословное восстание против наступающего абсолютизма была, с его точки зрения, началом общеевропейского кризиса и выраженными в масштабах Чехии стремлениями разрешить социально-политические противоречия, которые были общим явлением для всех земель Чешского королевства и части других австрийских земель.

Для Чехии же белогорское поражение оценивается как начало экономического, национального и культурного упадка. На этой концепции основаны и другие работы Полишенского, отличавшиеся от предшествующих и современных сочинений прекрасной ориентацией в источниках чешского и вообще европейского происхождения и обширным знанием мировой историографии вопроса.

Вторая книга, связанная с международными отношениями периода чешского сословного восстания 1618–1620 гг., вышла под названием "Нидерландская политика и Белая Гора" [5]. Здесь использованы в частности материалы Государственного архива в Гааге и Государственного архива в Лондоне. В этом сочинении автор не огра-

ничился исследованием политического контекста отношений между чешскими землями и Нидерландами. Он предпринял сравнительный анализ чешского и нидерландского обществ и их политических систем. Сословное восстание оценивается как часть борьбы между прогрессивными и консервативными силами европейского общества. В этом конфликте Полишенский усмотрел основу великой европейской войны, получивший название Тридцатилетней.

Указанные монографии дали автору основание попытаться представить синтез истории Тридцатилетней войны, что и было осуществлено в книге "Тридцатилетняя война и европейский кризис XVII столетия" [16] (эта книга переведена на несколько европейских языков, в том числе на английский). Здесь проводится мысль, что война не была лишь местным политическим конфликтом, чередой битв и военных экспедиций, но представляла собой ожесточенную многостороннюю борьбу за будущее Европы, имевшую глубокие и связанные с господствующей политической системой причины, и являлась конфликтом между наступающей предпринимательской буржуазией и регрессивными силами Габсбургской монархии. Весьма интересно рассмотрен вопрос о том, как Тридцатилетняя война отразилась на чешском народе. Это воздействие было глубоко отрицательным, о чем ярко говорится в книге ученого "Тридцатилетняя война и чешский народ" [17].

К вопросу о европейском политическом кризисе XVII ст. Полишенский обращался и в исследованиях о деятельности и судьбе отдельных исторических личностей той эпохи – ученом Яне Ессенском-Есениусе, участнике восстания 1618–1620 гг., казненном Габсбургами [18] и др. На склоне лет Полишенский написал биографию Альбрехта Валленштейна [19] и монографию о "трагическом треугольнике" Чехии, Нидерландов и Испании, чем выполнил свое давнее намерение дополнить сведения об английской, нидерландской и шведской политике исследованием о роли Испании в борьбе против чешского сословного восстания.

Этим крупным работам предшествовало множество статей как исследовательского, так и научно-популярного характера, опубликованных в Чехии и в других странах [6].

Освещение Полишенским проблем чешского сословного восстания и Тридцатилетней войны было новаторским. Традиционная западноевропейская историография XIX в. видела в этой войне последний великий конфликт религиозного характера, борьбу между католиками и протестантами, переросшую в конфликт политический. Но уже в то время высказывались мнения, что религиозный раскол был только поводом к вооруженной борьбе. Так, Ф. Меринг, написавший первое марксистское исследование о конфликте, считал, что идеология, конечно же, играет большую роль в жизни общества, но все же главную причину вооруженных конфликтов следует искать в экономике. В то же время Ф. Меринг считал Тридцатилетнюю войну явлением прежде всего немецкой истории и немецкой катастрофой. Французские историки видели в Тридцатилетней войне нечто иное, а именно ключевое событие, в результате которого первенство в Европе перешло к Франции. Были и другие точки зрения. Но лишь Полишенский доказал международный характер конфликта, выросшего из социально-экономического кризиса и кризиса общественной системы Европы XVII в. Именно эта точка зрения прочно утвердилась в современной историографии.

Изучение чешского сословного восстания 1618–1620 гг. и Тридцатилетней войны было главным, но не единственным направлением обширной исследовательской деятельности Полишенского. Параллельно с освещением чешского вопроса в период Тридцатилетней войны он изучал судьбу центральной фигуры чешского антигабсбургского интеллектуального протеста в эмиграции – Яна Амоса Коменского. Перу Полишенского принадлежат пять книг и более ста статей о Коменском [1]. В 1963 г. вышла научно-популярная книга ученого "Ян Амос Коменский" [20]. Автор представил в ней синтетический образ Коменского – философа, историка, языковеда, педагога – с общей его исторической оценкой. Особенно много труда положил

Полишенский на разработку творчества Коменского в 1970 г., когда отмечалось 300-летие со дня смерти великого сына чешского народа. Именно в то время появилась бóльшая часть статей Полишенского, посвященных различным сторонам деятельности Коменского. Юбилейные торжества показали, что в изучении жизни и творчества Коменского еще много белых пятен, а также неиспользованных архивных материалов. Некоторые проблемы такого рода Полишенский решил во втором издании книги, вышедшем в 1972 г. [20]. Если специалисты отдельных отраслей науки уделяли главное внимание педагогической, лингвистической и т.д. деятельности Коменского, то Полишенский полагал, что между отдельными видами творчества великого чеха имеется тесная связь. Кроме того Полишенский считал деятельность Коменского продуктом эпохи и исследовал ее в рамках соответствующего исторического периода. Все многочисленные работы ученого на эту тему можно объединить под общим названием: "Коменский и его время". Наиболее характерной в этом отношении является книга "Коменский в Амстердаме" [21]. В ней использованы многочисленные новые материалы. Книга освещает отношение Коменского к Нидерландам на широком фоне европейских исторических событий от начала борьбы Нидерландов против Испании до 1670-х годов. Проанализированы как необычайно сложная нидерландская внешняя политика, так и конфликтные отношения отдельных общественных групп внутри страны, показан постепенный уход Испании с политической арены как главной державы Европы и освещаются причины зарождения нидерландско-английских противоречий. Автор останавливается на процессе возвышения Швеции и событиях на востоке Европы. На этом историческом фоне освещено отношение Чешских земель к Нидерландам с конца XV в., показано, почему Нидерланды были привлекательны для Чехии, и описаны отношения между обеими странами в предбелогорский и белогорский периоды. Все эти вопросы освещаются на богатом материале голландских архивов. Из такого контекста органически вытекает изложение о Коменском и его связях с Амстердамом и вообще с Нидерландами. Автору удалось обосновать совершенно новый взгляд на личность Коменского. Книга также явилась важным достижением в изучении европейской истории XVI и XVII столетий.

После 1970-х годов Полишенский по указанным выше причинам как бы "выпал" из числа признанных исследователей творчества Коменского, хотя и опубликовал множество работ о нем как в Чехии, так и за ее пределами. Последняя книга ученого о Коменском вышла в 1996 г. [22]. В ней автор подводит итог размышлениям о Коменском. Он считает, что в его творчестве прослеживается влияние разных культур и учений, что Коменский был не только "учителем народов", как его именуют некоторые историки, допуская определенные упрощения: свои педагогические принципы он реализовал лишь в короткие периоды своей жизни; не был он просто пропагандистом экуменических идей и определенно не был успешным политиком. Но он был тем не менее великим европейцем, и его творчество стало интернациональным, хотя ему свойственны ошибки, колебания, увлечения и заблуждения.

Третьей областью научных интересов Полишенского была проблема европейских революций. При изучении откликов на Французскую революцию в Центральной Европе Полишенский обнаружил архив Яна Еника из Братржиц, деятеля Чешского национального возрождения; в архиве содержались ценные сведения о реакции чехов на Французскую революцию. Часть этих документов Полишенский опубликовал в 1947 г. [23]. В 1989 г. ученый выпустил книгу об этом знатоке источников по чешской истории XVI–XVIII вв. [24]. Весьма интересной является его книга "Наполеон и сердце Европы" [25]. Новые сведения и оценки содержит монография о революции и контрреволюции в Австрии в 1848–1849 гг. [26]. Говорится о революциях и при характеристике личности Дж. Казановы, книга Полишенского о нем вышла в 1997 г. [27].

Завершая краткий обзор творчества чешского историка, следует констатировать, что Полишенский принадлежал к числу выдающихся ученых XX в.; он внес огромный

вклад в историческую науку и способствовал своими трудами международному признанию научных достижений историков Чехии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Urbanová J.* Soupis prací Josefa Polišenského // Studie Muzea Kroměřížska. 1990. S. 10–32; *Rexová K.* Vyberová bibliografie Josefa Polišenského od roku 1990 // Český Casopis Historický. 2001. Č. 5. S. 413–414; Bibliografia selecta de Jozef Polišenský en el Campo de los Estudios Hispanicas, Lusitanas e Ibero-Americanos 1976–1995 // Ibero-Americana Pragensia. 29. 1995. P. 13–16.
2. *Полишенский Й.* Деятельность комиссии историков Чехословакии и Германской Демократической Республики // Вопросы истории. 1955. № 1. С. 184–185; *Полишенский Й.* Чешский вопрос и политические взаимоотношения Западной и Восточной Европы в первый период 30-летней войны // Средние века. 1963. С. 240–258; *Полишенский Й.* Изучение истории Латинской Америки в Чехословакии // Новая и новейшая история. 1967. № 3. С. 178–179; *Полишенский Й., Козак И.* Изображение городов СССР в историческом атласе Civitatis Orbis Terrarum // Русский город. 1980. Вып. 3. С. 84–94.
3. *Polišenský J.* Historik v měnicím se světě. Praha, 2001.
4. *Polišenský J.* Anglie a Bílá Hora. The Bohemian War and British Policy 1618–1620. Praha, 1949.
5. *Polišenský J.* Nizozemská politika a Bílá Hora. Praha, 1958.
6. *Cornej P.* Paměti Josefa Polišenského // Dějiny a současnost. 2001. № 5.
7. *Hanzal J.* Cesty české historiografie 1945–1989. Praha, 1999.
8. *Havránek J.* Sedmdesát let života a práce Josefa Polišenského // Studie Muzea Kroměřížská. 1990.
9. *Polišenský J.* Dějiny Britanie. Praha, 1982.
10. *Dějiny Latinské Ameriky.* Naps. Josef Polišenský a Kol. Praha, 1972.
11. *Kniha o bolesti a smutku.* Vbor z moravských kronik 17. století. Praha, 1948.
12. *Naše národní minulost v dokumentech.* Chrestomatie k dějinám Československa. I. díl (do zrušení nevolnictví). Praha, 1954.
13. *Historie o válce česke 1618–1620.* Vbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře. Praha, 1964.
14. *Dokumenta Bohemica bellum Tricennale illustrantia.* Praha, 1971–1981. T. I–VII.
15. *Polišenský J.* Der Krieg und die Gesellschaft in Europa 1618–1648. Praha, 1971.
16. *Polišenský J.* Tricetiletá válka a evropské krize 17. století. Praha, 1970.
17. *Polišenský J.* Tricetiletá válka a český národ. Praha, 1960.
18. *Polišenský J.* Jan Jesenský-Jessenius. Praha, 1965.
19. *Polišenský J., Kollmann J.* Valdštejn. Ani Císař, ani Král. Praha, 1995.
20. *Polišenský J.* Jan Amos Komenský. Praha, 1963; 2. vyd. 1972.
21. *Moutová N., Polišenský J.* Komenský v Amsterdamu. Praha, 1970.
22. *Polišenský J.* Komenský: muž labirintů a naděje. Praha, 1996.
23. *Jenik z Bratřic, Jan: Z mých pamětí.* Praha, 1947.
24. *Polišenský J., Illingová E.* Jan Jeník z Bratřic. Praha, 1989.
25. *Polišenský J.* Napoleon a srdce Evropy. Praha, 1971.
26. *Polišenský J.* Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848. Praha, 1975.
27. *Polišenský J.* Casanova a jeho svět. Praha, 1997.



© 2002 г. И. ТОРБАКОВ

ПИСЬМА В.И. ВЕРНАДСКОГО Ф.И. РОДИЧЕВУ

Более чем сорокалетняя дружба связывала двух этих замечательных людей – Владимира Ивановича Вернадского и Федора Измайловича Родичева (1854–1933) (см. о нем: [1; 2]). В их биографиях можно легко обнаружить заметное сходство. Оба родились в Петербурге, оба были выпускниками Петербургского университета. И тот, и другой – активные участники земского движения: в 1876 г. Родичев единогласно избран почетным мировым судьей своего уезда, затем назначен исполнять должность участкового мирового судьи, был Весьегонским предводителем дворянства и гласным Тверского губернского собрания; Вернадский же с 1892 г. – почетный мировой судья Моршанского уезда и гласный Тамбовского губернского собрания. И Родичев, и Вернадский стояли у истоков либерально-оппозиционного движения; в 1903 г. они приняли участие в съезде русских либералов в Шафгаузене, на котором был создан "Союз освобождения", в 1905 г. стали членами Центрального комитета конституционно-демократической партии. После созыва Государственной Думы и преобразования Государственного Совета они посвятили себя парламентской работе: Родичев был депутатом всех четырех Государственных Дум, а Вернадский с 1906 по 1916 г. избирался (от академической курии) членом Государственного Совета. Наконец, после Февральской революции оба занимали посты во Временном правительстве: Родичев в марте–мае – комиссар по делам Финляндии, а Вернадский в августе–октябре – товарищ министра народного просвещения.

Дружеские отношения и сходство биографий были неслучайны. Ф.И. Родичев и В.И. Вернадский принадлежали к той категории русского дореволюционного общества, которая определялась понятием "либеральная интеллигенция". Их политической философией был либерализм, а политическим лозунгом – известная формула П.Б. Струве "право и права". Русские либералы были убеждены, что целью человеческого существования является постоянное самосовершенствование и максимальная самореализация индивидуума. Для достижения этой цели человек должен располагать как можно большей свободой. Произвол и принуждение любого сорта, исходящие от государства либо от общества, отвергались. В основу политического и социального устройства должны быть положены, утверждал Вернадский, "вечные, незыблемые, бесспорные истины и основы права человека" [3. С. 213]. Между прочим, именно в ходе одной из бесед с Родичевым у Вернадского вызревает идея о необходимости объединения русских либералов в политическую партию. "Вечером

Торбаков Игорь – канд. ист. наук, консультант филиала "Института Открытое общество" (Киев).

был Федор Измайлович, – записал Владимир Иванович в дневнике 8 октября 1890 г., – разговор общий, интересный – между прочим, о политической программе. Совсем мало традиции в русском обществе и совсем среди самых светлых людей неумеренные представления о государственном значении партий. Оттого ли, что никогда определенная партия не имела у нас власти?" [3. С. 211].

В своих воспоминаниях о Родичеве Струве писал: "Я однажды назвал Родичева любовником свободы. Это была действительно всепоглощающая любовь всей его жизни... Родичев был одержимый поэт и жрец либерализма" [2. С. 44]. Таким же убежденным "жрецом либерализма" был, несомненно, и Вернадский, записавший однажды в своем дневнике: "Требования либералов являются исторической необходимостью... Исторические задачи России являются их историческими задачами, а требования либерализма являются логическим следствием всей русской истории..." [3. С. 215].

Октябрьский переворот и начало гражданской войны положили конец как попыткам реализовать либеральные идеалы в России, так и определенному параллелизму в судьбах двух друзей. Родичев эмигрировал из России и через Балканы попал во Францию, а потом в Швейцарию. Вернадский колебался, неоднократно задумывался об отъезде, но, в конце концов, остался на родине.

Публикуемые письма охватывают практически весь период жизни Ф.И. Родичева в эмиграции. Первое было отправлено Вернадским из врангелевского Крыма в октябре 1920 г.¹, а последнее датировано июлем 1932 г. За исключением первого письма, все остальные восемь корреспонденций были отправлены во время зарубежных командировок Вернадского: ученый явно пытался избежать перлюстраций и вполне возможных политических неприятностей.

Письма публикуются с незначительными сокращениями. Пропуски текста отмечены символом (...). Подчеркнутые слова и фразы заменены курсивом. Знаки препинания расставлены в соответствии с современными правилами.

Оригиналы писем хранятся в фонде Родичева в Бахметевском архиве русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rodichev Collection).

1. В.И. Вернадский – Ф.И. Родичеву

7/20 X [1] 920
Симферополь

Дорогой Федор Измайлович,

Собираюсь на днях уехать в Лондон² заканчивать и восстанавливать (рукописи мои

¹ Очевидно, этому письму предшествовали другие. Так, в начале января 1920 г., находясь в Екатеринодаре, Вернадский заносит в свой дневник: "Через Григ. Фед. Щербину, едущего в Италию, написал большое письмо Фед. Изм. Родичеву в Белград о моем переходе в славянские университеты и откровенно о положении и работе Д[обровольческой] А[рмии] и нашего ЦК" (См.: [4. С. 206]). В бумагах Родичева, хранящихся в Бахметевском архиве, это письмо не обнаружено.

² Оказавшись в конце января 1920 г. в Крыму, Вернадский все больше начинает склоняться к мысли об эмиграции – прежде всего для продолжения научной работы. Мотивы "отъезда" то и дело встречаются в его дневниковых записях. Так, 20 апреля 1920 г. он заносит в дневник: "...тяжело жить в этой обстановке, хочется уехать скорее в Англию и Америку и отдаться всецело научной работе". 6 июня: "Хочу уезжать за границу. Удастся ли организовать?" 18 июля: "Невольно думаешь о поездке в Англию" [5. С. 66–67, 83, 92]. Жена Вернадского Наталья Егоровна позже вспоминала: "Владимир все же мечтал о переезде за границу, где мог бы спокойно заниматься наукой. Предпринятые им шаги обещали успех". [5. С. 163. Прим. 137]. Работая в конце жизни над мемуарами, Вернадский внес в "Хронологию 1921 г." следующее: "Будучи в Ялте, в Крыму... я написал в Британскую Академию наук, иностранным членом которой я состою с 1889 года, просьбу помочь мне и моей семье переехать в Англию" [6. С. 38. Прим. 5]. О перипетиях переговоров Вернадского с английскими уче-

остались в Киеве) ту большую научную работу, которую я веду уже несколько лет (о живом веществе)³. Но жизнь сложилась иначе.

Умер от сыпного тифа ректор Университета – проф. Р.И. Гельвиг⁴ и я не считал себя вправе отказаться от избрания⁵. Сейчас остался здесь в качестве ректора Университета.

30/17 X [1] 920. 24 X/5 XI [1] 920

Среди всяких срочных дел и необходимости выезда в Севастополь не мог закончить письма и делаю это только теперь по возвращении.

Я взял на себя это дело только потому, что считаю положение научной работы в России во многом трагическим, а между тем я думаю, что никогда и ни в одной стране так много не зависит в ее будущем от широкой и интенсивной научной работы. Таврический университет – единственный русский университет, обладающий автономией, т.е. способный к широкому развитию. Как бы ни сложились дальнейшие обстоятельства, мы намерены предпринять все средства для его поднятия и попытаться создать из него центр возрождения и охраны научной работы в России. Я считаю его сейчас последней оставшейся скалой, где принялась в более нормальных условиях русская наука. Как ни тяжелы условия нашей жизни, мы можем их (так в тексте. – *И.Т.*) выжить и имеем огромные шансы для роста и развития...⁶

В связи с этим я обращаюсь к Вам за помощью.

ными и правительственными чиновниками см.: [4. С. 157–158. Прим. 120; С. 162–163. Прим. 137].

³ Еще поздней осенью 1919 г., покидая Киев (в связи с угрозой его взятия Красной Армией) и направляясь через Харьков в Ростов, Вернадский записал в дневнике: "Будущее становится все более грозным и безнадежным. Невольно начинаешь бояться, что не удастся провести научную работу неразрушенной среди хаоса разрушений. А впереди столько мыслей, столько новых достижений! И так ясен путь дальнейшей работы. Я хочу в случае крушения Киева и Харькова Д[обровольческой] А[рмией] – работать – рукописи остались в Киеве – над обработкой темы – над "Автотрофным человечеством" – последней главой "Живого вещества". Она едва набросана, и над ней можно работать независимо от рукописи. Если бы даже рукописи и пропали – работа моей мысли не пропала, и она сама по себе составляет нечто целое и живое" [4. С. 187]. Рукопись книги "Живое вещество в земной коре и его геохимическое значение" была возвращена Вернадскому весной 1921 г. [4. С. 267. Прим. 26].

⁴ Гельвиг Роман Иванович (1873–1920) – медик, анатом, учился у П.Ф. Лесгафта в Петербургском университете, закончил медицинский факультет университета св. Владимира в Киеве, затем преподавал там в 1902–1918 гг. С 1918 г. – профессор медицины, первый ректор Таврического университета в Симферополе. Умер от тифа 19 сентября (2 октября) 1920 г.

⁵ Вернадский, еще 4 (17) марта 1920 г. утвержденный сверхштатным ординарным профессором по кафедре геологии, был избран ректором Таврического университета 28 сентября (10 октября). Как вспоминала Н.Е. Вернадская, "мы ждали парохода для отъезда (в Англию. – *И.Т.*), но его сослуживцы в университете... никак не хотели согласиться с его отъездом, с уходом его из ректорства... К нему пришла депутация профессоров с просьбой не уезжать и не оставлять Таврического университета, где его труды в качестве ректора, по их мнению, были необходимы. После депутации профессоров явилась депутация приват-доцентов и пр. и, наконец, депутация сторожей все с той же настойчивой просьбой. Я упрашивала Владимира не поддаваться их уговорам. Но Владимир решил, что если они так считают, что он так нужен им – не уезжать и продолжать свою работу" [4. С. 163. Прим. 137].

⁶ 10 (23) октября Вернадский встретился в Севастополе с правителем Юга России, главнокомандующим русской армией П.Н. Врангелем и председателем совета начальников управлений врангелевской администрации А.В. Кривошеиным для того, чтобы заручиться их поддержкой в деле улучшения тяжелого материального положения университета. "С Врангелем общий разговор о значении университета как единственного свободного центра русской культуры, территориально связанного с русской государственностью. Придает огромное значение нашим выступлениям в мировом культурном мире (воззвание в связи с помощью библиотеке университета). Обещает всякую помощь в нашей анкете о положении высшей школы и науки в России" [4. С. 106].

1. Не можете ли доставить и доставлять нам в библиотеку польские издания и русские издания, выходящие в Польше, преимущественно научные, но и все другие. Очень важно было бы получать газеты (еженедельники особенно), чтобы судить о польских делах. Вам трудно представить себе, как важно сейчас иметь всякое известие. Кривош[еин]⁷ обещал мне известить все посольства о помощи Тавр[ическому] ун[иверситету] – сделал ли?⁸

2. Нельзя ли получить список всех высших учебных заведений и научных учреждений в Польше и кто стоит во главе их? Есть университет в Люблине? Выходят научные издания?

3. Нельзя ли получить список всех находящихся в Польше ученых (особенно молодых), бежавших туда из России, и знать, чем они занимаются?

4. Мы собираем теперь материал для мартиролога русских ученых с осени 1917 года. *Всякие* сведения в этом отношении для нас имеют значение и убедительно прошу Вас помочь нам их присылать. Важны не только сведения о гибели (от расстрелов, тифа, голодания, истощения и т.п.), но и тюремные заключения, издевательства и т.п.⁹

5. Если что-то знаете о положении высшей школы и ученых учреждений в Советской России – сообщите.

6. В каком положении высшие школы и ученые учреждения в Познани? Кому подведомствен Кенингсбергский Университет? Можно ли получать через Польшу и через Вас немецкие книги? Нельзя ли снестись с Петр[оградской] Академией Наук и получить последний ее отчет?

Я весь завален грозными условиями жизни, но научно работаю, сколько могу. Сейчас у нас идет целую неделю *блестящий* по интересу и составу съезд Таврич[еской] Научной Ассоциации¹⁰. Публика переполняет залу. Пытаемся всячески восстановить связь с наукой на Западе и Америки.

Очень прошу Вас ответить мне на все эти мои вопросы. С кем снестись в Чехии?

Ниночка¹¹ служит в кооперативе. В свободное время работает в Унив[ерситете] студенткой. Георгий в Севастополе начальником печати, но остался профессором¹². Не знаю, как переживем это время – но все в таком положении. Ваш В. Вернадский. (...)

⁷ А.В. Кривошеин – председатель совета начальников управлений администрации П.В. Врангеля.

⁸ Приблизительно в то же время – 7(20) октября 1920 г. – Вернадский обращался со сходной просьбой к послу во Франции В.А. Маклакову: "Дорогой В.А. ... Долголетняя наша дружеская совместная работа позволяет мне рассчитывать на Вас..., обращаюсь к Вам со следующими просьбами: 1) нельзя ли получить для библиотеки Тавр. ун-та официальные французские издания по всем министерствам... 2) Нельзя ли получить какие бы то ни было книги, журналы, газеты для нашей библиотеки. Может быть, Вы можете пересылать нам, что не нужно Вам. За всякую помощь в этом отношении мы будем страшно благодарны. В. Вернадский" [4. С. 167. Прим. 140].

⁹ По инициативе Вернадского при Таврическом университете была создана "комиссия о положении высшей школы и учебных сил в России", куда должны были поступать сведения о "случаях естественной смерти, гибели или особых лишений, постигших русских ученых с осени 1917 г." [4. С. 165. Прим. 137].

¹⁰ С 22 по 28 октября (4–10 ноября) в Симферополе под председательством Вернадского проходил седьмой съезд Таврической научной ассоциации. 25 октября (7 ноября) ученый выступил на съезде с докладом "Русская интеллигенция и новая Россия". Текст доклада см. в: [7. С. 293–295].

¹¹ Нина Владимировна Вернадская (1898–1986) – дочь В.И. Вернадского.

¹² Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973) – сын В.И. Вернадского, историк. С осени 1918 г. – профессор Таврического университета. Осенью 1920 г. был назначен начальником отдела печати правительства Врангеля. Одним из выдвинутых Г.В. Вернадским условий назначения на должность было сохранение за ним профессуры в Таврическом университете [8. С. 219].

Дорогой Федор Измаилович, страшно рад был Вашему письму. Все время соби-
рался Вам написать. Но я здесь все время в большой работе и не справляюсь со своим
временем. Каждую неделю пишу и готовлю лекцию по-французски – по геохимии;
курс совсем новый, я читал нечто в роде в 1921–1922 г. в Петрограде (в Академии)
и сейчас этот курс – и самый предмет в Париже читается впервые¹⁴. И по-русски
писать каждую лекцию трудно, а по-французски и того труднее. У меня ничего гото-
вого нет и я пишу каждую неделю. Лекции здесь ровно час. На следующей неделе
кончаю лекции и буду готовить их к печати; выпущу книжкой¹⁵.

В Россию надо вернуться, т.к. не хочу подводить Академию¹⁶. Я думаю вернуться
на время и провести этот год за границей, если найду материальную возможность.
У меня материально обеспечены месяца 4, а затем есть проспекты. М[ожет] б[ыть]
останусь здесь, взяв годичный отпуск – это буду выяснять. Больше бы всего хотелось
уехать в Америку, если бы была возможность добиться там организации особой лабо-
ратории – биогеохимической лаборатории для изучения жизни в связи с химией зем-
ной коры – того вопроса, которым эти годы занят и где, мне кажется, удалось мне
получить важные результаты¹⁷. В России, несмотря на ужасающие условия жизни,
научная работа идет и развивается. Это одно из крупнейших достижений русского
народа за это ужасное время. (...)

Я сам не только не православный, но и не христианин¹⁸ – но считаю для себя

¹³ В конце декабря 1921 г. Вернадский получил приглашение ректора Парижского
университета профессора П. Аппеля прочитать курс лекций по геохимии. В начале июня 1922 г.
он выехал с женой и дочерью через Прагу в Париж. Заявление Вернадского в Народный
комиссариат иностранных дел с просьбой о выдаче заграничного паспорта см. в: [6. С. 62–63].

¹⁴ Из-за проволочек и задержек с оформлением выездных документов Вернадский не успел
приехать к началу весеннего семестра 1922 г. и начал чтение курса только в декабре. Курс был
рассчитан на 15 лекций и читался раз в неделю – с 15 декабря до середины
марта [9. С. 146].

¹⁵ Сорбоннский математик Эмиль Борель от имени факультета предложил Вернадскому
помощь в переговорах с издательством, которое могло бы выпустить курс лекций по геохимии
отдельной книгой.

¹⁶ Первоначально срок командировки Вернадского был определен в пять месяцев. Однако в
связи с тем, что ему удалось заключить договор на издание курса геохимии с научным
издательством "Алкан", Вернадский попросил Академию наук продлить ему командировку до
осени 1923 г.

¹⁷ В письме И.И. Петрункевичу, написанном в этот же самый день (10 III 1920), Вернадский
более подробно останавливается на теме "научной эмиграции": "Если бы не дети и не то, что я
чувствую, что мне нужно кончить научную работу, которая для меня самое дорогое, – я, может
быть, не захотел бы отсюда (из России – И.Т.) уехать. Но годы идут и идут, осталось мне жить
немного, а сказать и сделать хочется много. Это заставляет меня стремиться в Америку. То,
чего я хочу там, – не кафедры и не лекций. Я считаю необходимым организацию особой
биогеохимической лаборатории. Об этом своем проекте я написал в Институт Карнеги. Не
знаю, выйдет ли из этого что-нибудь – шансов немного. Но если это удастся – я думаю, я получу
возможность сделать много. Такую лабораторию можно было бы устроить в России, но нам
там приходится для получения результата тратить в несколько раз больше сил. И затем это еще
долго будет самым тяжелым местом жизни" [10. С. 206].

¹⁸ Мировоззренческую позицию Вернадского проясняет следующая запись в дневнике: "Я
считаю себя глубоко религиозным человеком. Могу глубоко понимать значение и силу
религиозных исканий, религиозных догматов. Великая ценность религии для меня ясна, не
только в том утешении в тяжестях жизни, в каком она часто оценивается. Я чувствую ее, как
глубочайшее проявление человеческой личности. Ни искусство, ни наука, ни философия ее не
заменяют, и эти человеческие переживания ее касаются тех сторон, которые составляют ее удел.
А между тем для меня не нужна церковь и не нужна молитва. Мне не нужны слова и образы,

ближе, несравненно ближе, всякого верующего православного по сравнению с верующим социалистом. Последние, по-моему, опасны для свободы и развития человечества¹⁹. {...}

Ваш В. Вернадский

3. В.И. Вернадский – Ф.И. Родичеву

Paris V
7 Rue Toullier
23 X [1]1923

Дорогой Федор Измаилович,

Очень мы рады были получить Ваше письмо. Я чрезвычайно рад, что остался здесь до весны – живу в человеческих условиях и имею возможность выражать широким кругам то, что считаю важным и к чему пришел всей мыслью своей жизни.

Но весной придется возвращаться в рабские условия русской жизни. Я получил продление командировки и это еще крепче связывает²⁰.

Я живу научной работой – тем, к чему пришел и что мне кажется важным и нужным. Я стар и времени у меня осталось немного, а сказать надо много. Когда я пишу Вам, я чувствую, что все это может показаться странным – но я знаю историю человеческой мысли и вижу там постоянно людей, переживавших то же, что переживаю и я. Иногда – и большею частью – они переживали правильно. То, что им казалось нужным сказать, было действительно нужно – иногда – но не часто – такие люди ошибались – или это нам так пока еще кажется. Но для них их убеждения были последним оселком, дальше которого они не шли.

Здесь мне пока не удастся устроить свою жизнь так, чтобы я смог отдаться этой своей работе прочно и всецело. В тяжелых условиях России пока это возможно, как мне ни тяжело там жить.

Я все-таки не теряю надежды, что удастся этого избежать, т.е. смогу поехать туда только временно.

Если бы я был моложе – я бы ни за что не вернулся – но мне 60 лет и я должен спешить в своей работе²¹.

которые отвечают моему религиозному чувству. Бог – понятие и образ слишком полный несовершенства человеческого" [6. С. 113]. Ср. в другом месте: "Я не люблю, неверующий, не христианин, быть в храме верующих" [6. С. 119].

¹⁹ Эту же мысль можно найти и в дневнике (запись от 29.05.1924): "Сейчас для будущего человечества более страшен и опасен идеал большевизма и социализма, более глубокий враг свободы, даже, чем [опасность со стороны] христианской церкви, потерявшей прежнюю возможность преследований" [6. С. 118].

²⁰ Ученый-минералог Альфред Лакруа, член Французской академии наук и ее неперемный секретарь, а также профессор Национального музея естественной истории в Париже был инициатором продления командировки Вернадского во Франции. В письме Петрункевичу от 30 IX 1923 Вернадский более подробно рассказывает о том, как это произошло: "Я – помимо всяких моих стараний – получил продление моей командировки от Академии Наук до мая 1924 г. Это постановление сделано по распоряжению Сергея Федоровича Ольденбурга, который сказал мне о своем поступке *post factum*. Вместе с тем, тоже совершенно неожиданно, я получил предложение остаться здесь до весны от французов, прочесть зимою курс лекций в Сорбонне, а весной в *Museum d'histoire naturelle*. Все это мне устроил Лакруа, который переговорил с руководителями этих учреждений и влиятельными профессорами. Он мне ничего об этом не говорил, и его предложения были неожиданностью! Они от себя обратились официально в Академию наук о продлении моей командировки" [10. С. 208].

²¹ В другом месте Вернадский выражает свою мысль более определенно: "Если бы я был совсем моложе – я бы эмигрировал. Во мне чувство общечеловеческого много сильнее национального. Но сейчас это трудно и невозможно, так как всегда требует нескольких лет, потраченных на приобретение положения" [10. С. 212].

Я эти годы – в другой обстановке и без всякого сравнения – понял, о чем говорил Сократ, когда говорил о своем "демане"...

Общие условия жизни человечества мне представляются связанными с порядком, от него не зависящим, который не допустит варваризацию. И в этом смысле я спокойно смотрю в будущее. Но частное будущее отдельной страны может быть очень тяжелое. А в России, мне кажется, нынешний и будущий [из него – вставлено в текст] строй тесно связан с ее прошлым.

В той книге более общего характера, чем геохимия, которую теперь сдал в печать – которую я теперь пишу, я в последних главах хочу коснуться вопроса о вероятном будущем человечества в связи с его геохимическим значением, его значением как силы природы. Надеюсь, Вы тогда прочтете и простите эти несвязные строки. Всего лучшего. Ваш В. Вернадский. <...>

4. В.И. Вернадский – Ф.И. Родичеву

Прага Bubenec
Buckova 594

[В левом верхнем углу – *Дорогой Георгий, это для тебя. Прочти и сохрани в своем архиве. Нашла сегодня утром в отцовских бумагах это письмо. Обнимаю обоих. А. Родичева.* Приписка карандашом рукой Г. Вернадского – получено 10 Sep. 59. В правом верхнем углу датировка Г. Вернадского – в конце 1925 г.]

Дорогой Федор Измаилович.

Глубоко тронуло меня и было дорого Ваше письмо. Горячо благодарю Вас.

Еду в Россию²², зная, что будет нелегко, особенно Наташе, т.к. я буду больше в сутолоке жизни, больше на людях. Для меня мое решение было вызвано и обосновано чувством личного морального обязательства, чувством личной чести. Сейчас – видя людей в России – молодых и старых ученых, друзей и учеников – мне иногда кажется, что это мое решение окажется правильным не только субъективно, но и объективно. Тяжело особенно нам будет жить в условиях гнета и неуважения к человеческой личности, нам, привыкшим к условиям жизни свободных людей в свободной стране... Это присоединяется к тому тяжелому, что сейчас переживают все русские люди в России и вне ее. Думаю, что сейчас – не знаю, надолго ли (но это в значительной мере будет зависеть от меня самого) – условия моей научной работы в России будут гораздо более широкие, чем те, которые я имел и мог бы иметь сейчас на Западе. Но это не имело влияния на мое решение, т.к. и то, чего я мог бы добиться [для этого года – вставлено поверх текста] во Франции и Чехословакии представляло для меня многое и дало бы мне возможность сделать м[ожет] б[ыть] меньше, чем в России, но получить, делая это, зато возможность более спокойной, свободной жизни. Конечно, если бы я думал, что в Петербурге я не буду иметь возможности научно работать – я бы это высказал публично и это бы сняло с меня моральное обязательство. Я думаю, однако, как раз противоположное. Сейчас я восстановлен в положении Директора Радиевого Института²³ (выбирает совет института – и затем вторично Академия) и Председателя Комиссии по изучению естеств[енных] производительных сил Рос-

²² Завершив все свои научные дела в Париже к ноябрю 1925 г., В.И. Вернадский вместе с женой выехал в Прагу, а через три с половиной месяца – в Ленинград.

²³ Радиологическая лаборатория Академии наук, основанная в 1915 г., в 1922 г. была преобразована в Государственный Радиевый Институт, директором которого до 1939 г. был Вернадский.

сии²⁴ (теперь д[олжно] б[ыть] СССР!) (избрание Академией). Этим путем я получаю в свое распоряжение лабораторию, помощников, денежные средства для работы.

В этом отношении эти учреждения – с независимым от Академии бюджетом – обставлены хорошо. По-видимому, я смогу сразу поставить ряд работ – очень частью больших – которые мне были здесь совершенно недоступны. Я сейчас нахожусь в периоде очень большого охватившего меня научного творчества, которое, скорее, растет, чем уменьшается – как это ни странно говорить в мои года! Старения в этом смысле я не ощущаю. И я еду, надеясь на возможность немедленного направления научной работы частью в совершенно новые области знания. Я чрезвычайно благодарен Академии, что она избавила меня при этом от всяких переговоров с властями; все это было сделано вне меня.

Конечно, посмотрим, как все сложится. Я смотрю в будущее России скорее с большим спокойствием. Думаю, что открывающееся новое – при всей его сложности и при многом тяжелом и чуждом – будет большим даже в ближайшее время. Сейчас в русском народе и обществе я вижу огромные для этого проявления и в этом отношении смотрю иначе, чем значительное большинство людей, которых я сейчас вижу кругом. Я вижу огромное горение *веры*, религиозной сознательности, охватившее множество лучших людей; думаю, что в этом выстраданном, частью в подвижничестве, не останавливаемом перед смертью, таится огромное возрождение; в России оно принимает форму православного и протестантского движения и входит в рамки той великой борьбы мировых религий с атеизмом и фетишизмом, во главе которой стоит католичество.

Я вижу и другую форму духовного творчества и *подвижничества*, которая кажется мне не меньшим залогом будущего. Сейчас тысячи людей в России охвачены научной работой и исканием; и здесь это проносится (?) среди страданий. Со всех сторон я имею сейчас указания на то, что поднимаются молодые талантливые ростки и с другой стороны это искание идет в новые слои, люди таланта идут и из низов. В общем главные центры научной работы сохранились и сейчас идет любопытное и важное движение, связанное с "краеведением" и "мироведением", число организованных центров которого доходит, если не превысило, 1000²⁵. Но для меня важно то, что идут всюду *молодые* искания. Сейчас русская научная творческая работа пережила окончательно опасный момент. Думаю, что втиснуть это большое в тиски гибнущего коммунизма – утопия, реально не опасная. Я смотрю – иначе, чем большинство – с огромным признанием (?) и к третьему большому и разнообразному идейному движению – национальному, в частности азиатскому, – которое может не только не быть опасным для России, как многие боятся, но, по-моему, есть залог ее будущей духовной силы. Духовную мощь этого движения я ставлю очень высоко. Наряду с этим, идейно коммунизм (и социализм) кончен или умирает: талантливые, одаренные люди в него не идут. Так или иначе он кончится ("рассосется", как мне говорят Платонов²⁶ и Лю-

²⁴ Комиссия по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) была основана Вернадским в 1915 г. с целью развертывания программы комплексных исследований производительных сил страны в виду необходимости мобилизации сырьевых ресурсов на военные нужды в годы Первой мировой войны. В 1930 г. КЕПС была преобразована в Совет по изучению производительных сил СССР при АН СССР.

²⁵ О росте интереса к краеведению Вернадский знал от своих старых друзей – востоковеда С.Ф. Ольденбурга и медиевиста И.М. Гревса, работавших в Центральном бюро краеведения. Еще один ближайший друг – Д.И. Шаховской писал в конце 1925 г.: "Очередной задачей ближайшего года я считаю борьбу за единство русской культуры и за сознательное вовлечение в эту борьбу народных масс. Внешнее выражение этого всенародного овладения наукой и всенаучного завоевания народа – есть *краеведение*". (См.: [10. С. 155]). В Центральное бюро краеведения входило 1800 различных учреждений.

²⁶ Платонов Сергей Федорович (1860–1933) – историк, профессор Петербургского университета, академик АН СССР.

бавский²⁷) – кругом идет новая жизнь возрождающегося хозяйства. Как она пойдет – не знаю. Любопытно, что сейчас в области земледелия и новых научных исканий в этом направлении *русские* исследователи растут в своей мировой ценности и здесь есть формы большого будущего...

Простите за эти бессвязные строки. Думаем ехать через неделю: уже русскую визу получили. Остановимся два дня в Берлине. Наш горячий привет Вам и Ек. Ал.

Ваш В. Вернадский

5. В.И. Вернадский – Ф.И. Родичеву

7 IV [1]928

Paris XIV

15 Rue Delambre

Дорогой Федор Измайлович – очень рад был получить от Вас весточку. Мы приехали сюда из Праги²⁸, где мне пришлось читать и составлять (по-французски) новый курс лекций и писать большую записку для Академии Наук – и я не мог написать Вам. Здесь мы отдыхаем на обратном пути – в конце месяца уже должны быть в Петербурге. (...)

Очень странное чувство испытывают сейчас в России. Вы чувствуете огромный происходящий процесс, еще далеко не устоявшийся. Будущее мне представляется совсем неясным – но ясно для меня одно: то, что произошло, подготовлялось десятилетиями, если не поколениями, и мы не поняли того, что подготовлялось.

Выдержит ли народ то глубочайшее потрясение, которое происходит? И что будет представлять новая Россия, которая создается, если народ выдержит? Можно сказать одно: старое *не* вернется даже в отдаленной степени и то, что есть сейчас, – преходяще и не имеет никаких данных сохраниться. Устоит ли народ или Россия распадется? Выражая не свое – а чужое, очень распространенное – мнение, должен сказать, что господствует оптимистическое настроение. Верят кругом в великое будущее. Это, конечно, тоже факт, с которым приходится считаться.

А так жизнь сейчас, конечно, очень тяжела. Свободы в России всегда было мало – а сейчас ее совсем нет. И впечатление такое, что она огромному большинству наших соотечественников – не нужна (...)

6. В.И. Вернадский – Ф.И. Родичеву

22 IV [1]928

Гронинген

Дорогой Федор Измайлович,

Перед отъездом в Россию мне хочется ответить на Ваше письмо об Академии. Я думаю, что именно представление – ходячее в русском обществе об Академии и было неверное. Острога Герцена, о которой Вы пишете (Ак[адемия] Н[аук] могла бы быть на Сандвичевых остр[овах]), как раз показатель этого непонимания и исторически неверна.

Русское общество так же не знало и не знает историю *своего* научного творчества, как не знало и своего художеств[енного] творчества; добрая часть истории России – да и всякой страны (стоит вспомнить Наполеона во Франции) – творилась "иностранцами по происхождению". Есть замечательная по глубине мысли речь ак[адемика] Мид-

²⁷ Любавский Матвей Кузьмич (1860–1936) – историк, ректор Московского университета в 1911–1917 гг., академик АН СССР.

²⁸ В февралю–марте 1928 г. Вернадский прочел курс геохимии в пражском Карловом университете, а затем совершил поездку по маршруту Нюрнберг – Мюнхен – Страсбург – Париж – Гронинген – Берлин.

дендорфа²⁹ (вполне русского, несмотря на немецкую фамилию) в 1850-х годах, где дано глубокое обоснование той структуре Ак[адемии] Н[аук], какую имела Россия в XIX ст. и которая, вероятно, разовьется в Европе – и в мире, – когда падут рамки национальной грезни. Связь "немцев" (б[ольшей] ч[астью] русских по государству), о которых я пишу – Ленца³⁰, Фусса³¹, Гесса³² и др. – с русской культурой огромна. Ну напр., *русский* химич[еский] язык создан Гессом (один из великих химиков – калибра Бертелло³³). История с Менделеевым очень печальна – но нельзя забывать, что это обычная ошибка в истории академии: недавно франц[узская] академия забаллотировала П. Кюри³⁴ после открытия им радия (второй раз выбрала), а самый крупный из живых французский физик Регги³⁵ был *дважды* забаллотирован. Они забаллотировали и Mme Curie³⁶. Это все печальные стороны всяких научных – да и других – "обществ". Надо иметь в виду, что М[енделеев] был забаллотирован на кафедру *физики* и прошел в отделении, но был забаллотирован в Общем Собрании³⁷. Во главе "немецкой" партии Ак[адемии] Наук стоял К. Веселовский³⁸, а главой "русской" был бар[он] Розен³⁹.

Вообще сейчас, я думаю, русская история должна быть написана вновь – до такой степени мы все захвачены двумя официальными схемами – уваровской и той "радикально-социалистической", которая не менее, если не более, наделала бед. Два-три примера: Писарев и вся "либеральная" (я ее такой не считаю) русская журналистика высмеивала и боролась с Пастером⁴⁰, осыпала его грязью: она считала истиной самопроизвольное зарождение. Величайший русский, – который, вероятно, должен стоять в первых десятках гениев человеческой мысли Лобачевский⁴¹, человек глубокого бла-

²⁹ Миддендорф Александр Федорович (1815–1894) – русский естествоиспытатель и путешественник, академик Петербургской академии наук.

³⁰ Ленц Эмилий Христианович (1804–1865) – русский физик и электротехник, ректор Петербургского университета в 1863–1865 гг., академик Петербургской академии наук.

³¹ Фусс Николай Иванович (1755–1825) – русский математик, академик Петербургской академии наук.

³² Гесс Герман Иванович (1802–1850) – русский химик, основоположник термохимических исследований в России, академик Петербургской академии наук.

³³ Бертелло Пьер Эжен Марселен (1827–1907) – французский химик, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.

³⁴ Кюри Пьер (1859–1906) – французский физик, один из создателей учения о радиоактивности. Совместно с женой Марией Склодовской-Кюри открыл в 1898 г. полоний и радий.

³⁵ Перрен Жан Батист (1870–1942) – французский физик, профессор Парижского университета, лауреат Нобелевской премии, иностранный почетный член Российской академии наук.

³⁶ Склодовская-Кюри Мария (1867–1934) – физик и химик; иностранный почетный член Российской академии наук. Руководила отделом физико-химических исследований в Радиевом институте в Париже, в котором Вернадский проводил свои исследования радиоактивных минералов в 1923–1925 гг.

³⁷ Д.И. Менделеев был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук в 1876 г., но его кандидатура в академики была в 1880 г. отвергнута "...противодействием темных сил, которые ревниво закрывают двери Академии перед русскими талантами" [11. С. 128]. Подробнее об этом см.: [12. С. 299–333].

³⁸ Веселовский Константин Степанович (1819–1901) – русский экономист и статистик, академик Петербургской академии наук, непреходящий секретарь АН с 1857 по 1890 г. С именем Веселовского связан печально известный скандал с забаллотированием в академики Д.И. Менделеева, о котором упоминает Вернадский.

³⁹ Розен Виктор Романович (1849–1908) – русский востоковед-арабист, академик Петербургской академии наук.

⁴⁰ Пастер Луи (1822–1895) – французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии, иностранный почетный член Петербургской академии наук. Опроверг теорию самозарождения микроорганизмов.

⁴¹ Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) – русский математик, создатель неевклидовой геометрии (геометрии Лобачевского). Ректор Казанского университета в 1827–1846 гг. В дневниковой записи от 31.05.1924 Вернадский отмечает, что читает "Васильева биографию

городства и редкого у русских понятия чести – был сотрудником Магницкого⁴² в его "работе" в Казанском унив[ерситете]. Академия Николаевского времени совершила огромную работу – творческую – которая дала возможность появлению того расцвета естествознания 1860-х годов. И сейчас наш научный подъем, начавшийся в начале XX века, идет и растет, *несмотря* на большевистский, в сущности, социалистический строй. М[ожет] б[ыть] – если Россия его не выдержит – мы увидим в этой области явление, схожее с расцветом Древней Греции перед гибелью ее свободных государств. Я думаю, в этих законах много биологического и все т.н. "цивилизации" – часть большого естественноисторического процесса...

Я считаю великим несчастьем нашего народа как бедность его государственными людьми за последние поколения, так и неумение создать *национальную* школу. В области низшей и средней школы мы имели только трехстепенных людей: ни мыслители, ни госуд[арственные] люди не оказались в этой области на высоте. Я считаю, что совершенно иное – в области научной организации и высшей школы. Здесь было иное, и м[ожет] б[ыть] только оттого сейчас еще не совсем безнадежно наше положение в области высшей школы. Оно выдержит, может быть, и социалистически-фетишистское (атеистическое) воздействие.

Биологические процессы, у нас и идущие, и разврат – глубочайший и телесный и умственный – молодежи – самое страшное, что переживает Россия. Выдержит ли она? М[ожет] б[ыть] то все растущее религиозное настроение, какое действительно там нарастает – и как ни странно для русского интеллигента старого времени – несет свободу мысли (я, впрочем, всегда это считал) есть начало спасения.

Ну, отправляясь в Россию, шлю Вам сердечный привет.

Ваш В. Вернадский

7. В.И. Вернадский – Ф.И. Родичеву

20 VIII [1]929⁴³
Hruba Skala Stekluv Hotel

(...)

Не буду Вам писать – не напишешь – о нашей жизни в России. Жизнь там, конечно, столь тяжела, что не сравнится с жизнью здесь эмиграции и положение не улучшается. Оно становится грознее: идет безумная, как представляется, борьба – острая борьба, с крестьянством. Огромное дерзновение, книжно красивое – но совершенно неизвестно, к чему оно приведет. Несомненно, оно принесет и приносит массу страданий, и должно привести в конце концов или к разрушению государства, или к капитуляции власти⁴⁴. Но власть имеет задачи, которые не охватываются только идеей государства, так что для нее нет логической необходимости останавливаться перед его крушением. И насаждение единой материалистической философии (изменение быта),

Лобачевский" [13]. Здесь же – краткая характеристика ученого: "Удивительный ученый Лобачевский по простоте: его глубина не сознавалась – а влияние его личности было, по-видимому, очень велико" [10. С. 125].

⁴² Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844) – попечитель Казанского учебного округа в 1819–1826 гг. Известен своими охранительно-консервативными взглядами.

⁴³ Летом 1929 г. Вернадский приехал в Чехословакию из Берлина, где присутствовал на съезде Минералогического общества.

⁴⁴ Через две недели после этого послания Родичеву Вернадский в письме к сыну более подробно остановился на процессах (и своих опасениях), вызванных политикой "великого перелома": "Что-то я увижу сейчас в России? Дикая, бессмысленная чистка... А наряду с этим уже более грозная борьба власти с русским крестьянством. Больше всего я боюсь развала русского государства – вновь связать разорвавшиеся части обычно никогда не удается – Украина и Грузия – наиболее опасные части. Украина силою удержана быть не может... Основное, конечно, крестьянское движение – на Украине в нем *русский* = большевику, и это придает серьезность моменту" [14. С. 446–447].

и никогда еще не бывшая борьба с Богом – построение быта на безбожии при отсутствии и отрицании человеческого достоинства (чего не было, напр., в буддизме, тоже атеистичном) – новые и небывалые явления в истории человечества... Успех сомнителен и становится все более сомнительным, т.к. выдохся дух и нет крупных людей, идея мертвее...

Все это было бы чрезвычайно интересно, если бы этот эксперимент не делался над родным, с чем кровно связан...

⟨...⟩ Удивительным образом, стихийно, как мне иногда чувствуется, несмотря ни на что, развивается научная работа в России, и сейчас всюду растет молодой подрост, находящий себе для пробивания новые формы, совершенно не улавливаемые той полицейско-бюрократической сеткой, которая охватывает сейчас и давит Русь. Перед научной силой в России – сейчас малы те русские научные силы, которые находятся за ее пределами. И рост научной мощи внутри, несомненно, быстро растет.

Всего лучшего, дорогой Федор Измайлов[ич].

Ваш В. Вернадский

8. В.И. Вернадский – Ф.И. Родичеву

20 IX [1]929

Дорогой Федор Измайлович,

На днях уезжаем через Берлин назад в Россию и мне хочется написать Вам еще несколько слов. Чувство такое, что едем в очень тяжелые, еще более тяжелые, чем когда бы то ни было условия, туда, где творится сейчас история моего народа, и м[ожет] б[ыть] сейчас стоит он перед катастрофой⁴⁵. Хочется верить, что есть стихийный процесс, не учитываемый современниками, который от огромной катастрофы его избавит. Эта вера довольно распространена в России, где смотрят на происходящее, как на временное испытание. Хорошо это выразил в своем заявлении покойный Грум-Гржимайло⁴⁶...

Стихийность – закономерность – работы цивилизованного человечества для меня вытекает из научного изучения жизни в аспекте планеты. ⟨...⟩

Конечно, воспоминание о "братстве" не может иметь тяжелых последствий для лиц, еще живых. Дм. Ив. [Шаховской] очень интересовался последнее время этим нашим прошлым. Я думаю, в нем было зерно ценное – идея объединения людей в братстве в жизни – то же ценное, которое имеется в масонстве, но там выродилось... М[ожет] б[ыть] это одна из попыток, замерших, но которая в конце концов возродится⁴⁷. ⟨...⟩

⁴⁵ Ср. с фразой в письме к Г.В. Вернадскому: "Мы идем к какой-то катастрофе, если не найдется человек, который сумеет остановить и повернуть безумный бег" [14. С. 427].

⁴⁶ Грум-Гржимайло Владимир Ефимович (1864–1928) – русский ученый-металлург, член-корреспондент АН СССР. Можно предположить, что Вернадский имеет в виду заявление Грум-Гржимайло об освобождении его от должности профессора Уральского государственного университета, направленное им ректору УГУ В.В. Алферову 27 марта 1927 г. В заявлении, в частности, говорилось: "Как ни горько нам приходится, русский народ медленно и неуклонно идет к выздоровлению, и я вполне уверен в том, что переживаемые нами бедствия сделают нас великим и смелым, культурным народом-тружеником... В Ваши социалистические идеалы я, конечно, не верю; но убежден, что они и в Вас самих сидят очень некрепко, и закон необходимости заставляет Вас, большевиков, делать то, что требует жизнь, а не то, о чем мечтали поэты и философы" (См.: [15. С. 291–309]).

⁴⁷ "Братство" – кружок университетской молодежи (В.И. и Н.Е. Вернадские, супруги И.М. и М.С. Гревс, братья С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбурги, Д.И. Шаховской, А.А. Корнилов и др.), ставившей перед собой цели самоусовершенствования и мирной эволюции социального строя. Основными способами достижения этих целей члены Братства считали научные занятия и просвещение народа. Почти все члены Братства стали активными деятелями земского движения, а затем – конституционно-демократической партии. См.: [16].

Я думаю, суд истории над С.Ф. [Ольденбургом] будет во многом иной, чем думают современники. Мне всегда вспоминается деятельность некоторых китайских мандаринов при Чингиз-хане, спасших китайскую культуру. Я с очень многим – и с основным – не согласен с С.Ф., но думаю, что он всегда делал так, что может – без опаски – открыто объяснить свои поступки. Он стольким людям помог (и тем, которые его же ругают), как едва ли кто из живущих в России⁴⁸.

Школа разрушена и разрушается. Она всегда была слабой чертой нашего творчества. А сейчас, вероятно, худшее время для нее, какое можно себе представить. Значительная часть лучшей молодежи издается вне высшей школы.

Я не помню, писал ли я Вам, что перед отъездом сюда я начал перечитывать Герцена (государственное издание 1920 года было массами выпущено в "дешевую книгу"; спохватились – но поздно). Много там нахожу, хотя его атеизм и историософия мне чужды. Но какой огромный художник...

Всего лучшего. (...) Ваш В. Вернадский

9. В.И. Вернадский – Ф.И. Родичеву

19 VI [1]932⁴⁹

Геттинген

Дорогой Федор Измайлович,

Я уже больше месяца за границей – все хотел Вам написать, но пришлось спешно работать, был со своими в Праге, сколько мог – особенно с внучкой⁵⁰. Теперь больше свободен эти дни. (...)

Несмотря на очень тяжелые условия русской жизни, мне удается работать и вести три связанные между собою учреждения – Радиевый институт и две биогеохимические лаборатории: одну большую при Академии наук, другую маленькую у Мурманского моря – плохо обставленные и обязанные давать множество чепухи (как я говорю коммунистам: я делаю максимум усилий и получаю минимум эффекта и что на своей спине должен нести диаматов и т.н. общественных работников).

⁴⁸ Занимая с 1904 по 1929 г. пост неперменного секретаря Академии наук, С.Ф. Ольденбург после революции 1917 г. был вынужден постоянно идти на компромисс с большевистскими властями для сохранения как самой Академии, так и ее в основном "буржуазных" кадров. Одним из таких компромиссов, например, была книга, написанная Ольденбургом после его поездки по Германии, Англии и Франции летом 1923 г. (См.: [17]). Среди русских эмигрантов в Европе (в том числе и многих знакомых В.И. Вернадского) этот текст вызвал негативную реакцию. Ольденбурга стали считать если не прямым предателем, то, по крайней мере, пособником большевиков. Даже в Академии наук получил распространение следующий стишок: "Академик Альтенград большевистский лижет зад". (См.: [18. С. 448]). Вернадский прекрасно понимал причины политической лояльности друга. В письме Петрункевичу от 8 I 1925 он более подробно описывает сюжет из работы французского востоковеда Ж.П. Абеля Ремюза, на который мельком ссылается и в письме к Родичеву: "Ремюза как-то напечатал записки китайского государственного деятеля во время катастрофы, постигшей Китай при Чингиз-хане. Он пошел к татарам и сделался ближайшим помощником Чингиза; и благодаря ему, а не его моральным противникам, Китай не постигла судьба Средней Азии, где все было уничтожено. И этот мандарин был морально прав" [10. С. 217].

⁴⁹ Во время своей заграничной командировки 1932 г. Вернадский посетил Чехословакию, Германию (Мюнстер, Геттинген, Берлин, Лейпциг) и Францию (Париж).

⁵⁰ Татьяна Николаевна Толль – дочь Нины Владимировны Вернадской (в замужестве Толль) и Николая Петровича Толля, родилась 9 мая 1929 г.

Диаматы – диалектические материалисты – "философы". И те и другие – трутни, работающие наподобие палок в колесе и сейчас губящие научную работу⁵¹.

Совершенно неясно, что выйдет из того, что происходит. Сейчас ужасающий произвол и жестокость, борьба и насилие над крестьянством и остатками интеллигенции, и наряду с этим ряд важных и любопытных начинаний – но трудно сказать, удадутся ли и выдержит ли народ. Жизнь становится тяжелее, голод и разорение, плохая работа; пока у значительной части молодежи пафос работы над чем-то большим. <...>

Страна находится в тяжелейшем положении и в полном хаосе.

Иногда удивляешься, что все же можно идти вперед в научной работе.

Любопытно, что будет через несколько лет. Думаю, что-то совсем новое и не то, что пытаются строить. <...>

Горячо Вас обнимаю.

Всегда Ваш В. Вернадский <...>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вишняк М.В. К 75-летию Ф.И. Родичева // Современные записки. 1929. Кн. 38; Маклаков В.А. Ф.И. Родичев и А.Р. Ледницкий // Новый журнал. 1947. Т. 16.
2. Струве П.Б. Ф.И. Родичев и мои встречи с ним // Возрождение. 1949. Кн. 1; Тыркова-Вильямс А.В. Ф.И. Родичев // Новый журнал. 1954. Т. 38.
3. Вернадский В.И. Основую жизни – искание истины // Новый мир. 1988. № 3.
4. Вернадский В.И. Дневники. 1917–1921. Октябрь 1917 – январь 1920 / Сост. М.Ю. Сорокина, С.Н. Киржаев, А.В. Мемелов, В.С. Неаполитанская. Киев, 1994.
5. Вернадский В.И. Дневники. 1917–1921. Январь 1920 – март 1921 / Сост. С.Н. Киржаев, А.В. Мемелов, В.С. Неаполитанская, М.Ю. Сорокина. Киев, 1997.
6. Вернадский В.И. Дневники. Март 1921 – август 1925 / Сост. В.П. Волков. М., 1998.
7. Вернадский В.И. Публицистические статьи / Сост. В.П. Волков. М., 1995.
8. Вернадский Г.В. Крым // Новый журнал. 1971. Кн. 105.
9. Вернадский В. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков / Сост. Г.П. Аксенов. М., 1993.
10. "Я верю в силу свободной мысли..." Письма В.И. Вернадского И.И. Петрункевичу // Новый мир. 1989. № 12.
11. Бутлеров А.М. Сочинения. 1958. Т. 3.
12. Князев Г.А. Д.И. Менделеев и Академия наук // Архив истории науки и техники. М. – Л., 1935.
13. Васильев А.В. Николай Иванович Лобачевский. Казань, 1894.
14. Пять "вольных" писем В.И. Вернадского сыну (Русская наука в 1929) / Публ. К.К. // Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. Вып. 7.
15. Из бумаг металлурга В.Е. Грум-Гржимайло / Публ. П. Усова // Минувшее: Исторический альманах. М., 1990. Вып. 2.

⁵¹ В большом и подробном письме сыну от 5–6 V 1932, описывающем ситуацию в стране и Академии наук, Вернадский специально останавливается на том, как примитивные идеологические догмы пагубно влияют на развитие свободной научной мысли: «Сейчас идет в стране удивительный по идее и тяжелый по энергии опыт насильственного внедрения особой философии в научную работу. Диалектический материализм проводится полуобразованными адептами, целой оравой "диаматов" – при отсутствии настоящих философски образованных и мыслящих; учатся ему сотни тысяч или, м.б., даже миллионы людей, и с ними сталкивается вся научная работа: цензура совершенно дикая. Часть "диаматов" фанатично-изувер-кабальная. Часть "чего изволите"... Мне кажется, совершается поворот в сторону идеологии Сореля, ставившего философию над наукой... Я решительно и определенно, когда возможно, выступаю против, считая, что я как философски образованный человек – философский скептик не могу допустить внедрения философии в науку в той дикой форме, в какой это делается» (См.: [19. С. 306–307]).

16. *Вернадский Г.В.* Братство Приютино // Новый журнал. 1968. № 93. С. 147–171; 1969. № 95. С. 202–215; № 96. С. 153–171; № 97. С. 218–237; *Шаховской Д.И.* Письма о Братстве / Публ. Ф.Ф. Перченка, А.Б. Рогинского и М.Ю. Сорокиной // Звенья: Исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 174–318. *Каганович Б.С.* О генезисе идеологии "Ольденбургского кружка" и "Приютина братства" // Русская эмиграция до 1917 года – лаборатория либеральной и революционной мысли. СПб., 1997. С. 90–103.
17. *Ольденбург С.Ф.* Европа в сумерках на пожарище войны. Пг., 1924.
18. *Вознесенский И.* Только востоковеды... // Память. Исторический сборник. Париж, 1980. Вып. 3.
19. Week-end в Болшево, или еще раз "вольные" письма академика В.И. Вернадского / Публ. и комм. М.Ю. Сорокиной // Минувшее: Исторический альманах. СПб., 1998. Вып. 23.



F. PREŠERN – A.S. Puškin (ob 200-letnici njunega projstva). Ljubljana 2001

Ф. ПРЕШЕРН – А.С. Пушкин (к 200-летию их рождения)

Двуязычный сборник "Ф. Прешерн – А.С. Пушкин (к 200-летию их рождения)", вышедший в Любляне в 2001 г., включает в себя материалы Международной научной конференции "Пушкин – Прешерн", организованной филологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом славяноведения РАН и философским факультетом Люблянского университета и проходившей 16–18 мая 2000 г. в Москве. Опубликованные в сборнике статьи затрагивают тематику, связанную с литературоведческими, культурологическими, компаративистскими аспектами изучения творчества Пушкина и Прешерна и их современников.

Я. Кос, А.А. Смирнов и Е.Г. Милюгина исследуют творчество великих славянских поэтов в контексте романтизма. Я. Кос, проанализировав в статье "Пушкин и Прешерн – два вида классического романтизма" тексты обоих поэтов, имеющие сходные мотивы, тематику и стилистические черты, приходит к выводу: в творчестве Прешерна реализуется гармоничный (аполлоновский) тип классического романтизма, а в творчестве Пушкина – дисгармоничный (дионисийский). А.А. Смирнов ("Принцип романтической тайны в лирике Пушкина и Прешерна") исходит из представления о тайне бытия и сознания как доминанте творчества поэтов-романтиков. Пушкина и Прешерна объединяет ощущение, что вне их существует некая сфера жизни, связывающая их сознание с всеобщими началами бытия. Однако у Прешерна, в отличие от Пушкина, подчеркивает автор, сильное воздействие просветительской традиции приводит к тому, что романтическая тайна остается на периферии художественного сознания.

В статье Е.Г. Милюгиной «"Из сердца выросшее слово" – поэзия Франце Прешерна в контексте мистико-мифотворческой традиции европейского романтизма» рассматривается ключевая проблема творческого самосознания Прешерна как поэта-романтика – осмысление места поэта в мире. Романтизм выделяет три важнейшие грани поэтической личности – поэт-художник, поэт-пророк, поэт-герой. Стремясь к эстетическому совершенству, поэт-художник проходит путь страданий ("духовного ученичества") и становится пророком, обладающим сверхчувственным ("невыразимым") знанием о мире, что, в свою очередь, требует принятия на себя гражданской миссии поэта-героя. Прешерн утверждает поэта в качестве носителя высших ценностей, а его путь определяет как жизнь, освященную подвижничеством, борьбой за национальные идеалы и высшую свободу.

И. Верч, С.А. Шерлаимова и Н.Н. Старикова взяли за отправную точку исследования роль поэта в национальной культуре и его воздействие на национальное самосознание. И. Верч ("О национальном поэте") относит Пушкина и Прешерна к национальным поэтам, воспринимаемым современной культурой как текст ее самоидентификации. Исследователь усматривает в синтагме "национальный поэт" определенное противоречие: "национальность" опирается на норму, на противопоставление "свое – чужое", поэзия же есть отказ от строгих нормативных оппозиций. В результате подчинения второго члена синтагмы (поэт) первому (национальный) само понятие приобретает характер оксюморона. По мнению автора статьи, именно синтагма "национальный поэт" служит пока-

зательным примером такого развития, при котором через многократное прочтение предыдущих текстов складывается собственная модель национальной культуры. О влиянии литературы на формирование самосознания славянских народов в эпоху романтизма говорится в статье С.А. Шерлаимовой "К вопросу" о роли литературы в становлении национальной идентичности". Полемика между утопическими теориями "славянской взаимности", "иллиризма", с одной стороны, и национальными идеями чехов, словаков, словенцев, с другой, включала в себя и лингвистические споры. Исключительную роль в решении вопроса о литературном языке сыграла художественная практика. Так, расцвет словацкого романтизма (Я. Краль и др.) подкрепил языковую реформу Л. Штура, а поэзия Прешерна стала исходной точкой для развития самобытной словенской литературы на самостоятельном языке. В статье "Пушкин и Прешерн – опыт исторической художественной биографии" Н.Н. Старикова представляет сопоставительный анализ историко-биографических романов "Пушкин" Ю. Тынянова и "Ноктюрн поэта" М. Маленшек, проводя параллели по трем важнейшим для историко-биографического жанра позициям: принципу отбора биографических фактов, использованию документов и соотнесению фактического и вымышленного материала в авторской трактовке образов. Оба произведения – не "романтизированные" биографии, а эпос рождения, развития и гибели национальных поэтов, творчество которых неотделимо от истории их стран. Оба романиста, по мнению исследователя, воплощая художественную правду о прошлом, строят свою работу во внутренней полемике с идеалистическим представлением о писательских судьбах, с Пушкиным и Прешерном "в роли монументов", воздвигнутых потомками, их роднит теплое человеческое отношение к своим героям.

М. Юван, Ю.А. Созина, Е.В. Саркисян, Т.И. Чепелевская, Г.Ю. Филипповский посвятили свои работы сравнительному исследованию отдельных тем, отраженных в творчестве Пушкина и Прешерна. М. Юван в статье "Поэзия Пушкина и Прешерна о поэзии" подчеркивает, сколь важно было для поэтов-романтиков осмысление предзнаменения поэта и восприятия поэзии. Такая саморефлексия является, по мысли литературоведа, своего рода стратегией, при помощи которой литературная система определяет свою специфику и общественную роль. Ю.А. Созина в статье "Образ поэта в лирике А.С. Пушкина и Ф. Прешерна" выделяет общую художественно-созидательную направленность образа

поэта у Пушкина и Прешерна, лежащую в основе схожести ценностно-эстетической системы координат их творчества. Е.В. Саркисян («Мотив "memento mori" в философской лирике А.С. Пушкина и Ф. Прешерна») исследует несколько проблемных планов, присутствующих у обоих поэтов при воплощении мотива смерти: забвение на "пиру жизни" как выражение "игрового начала" в отношении к судьбе; упование на обретение покоя; осознание бренности всего живого. Г.Ю. Филипповский обращается к мотивам славянской весенне-летней обрядовой поэзии в творчестве Прешерна и Пушкина ("Мотивы славянской весенне-летней обрядовой поэзии в творчестве Ф. Прешерна и А.С. Пушкина"). Возвращение природы к жизни, являющееся одной из наиболее распространенных тем в весенней обрядовости славян, подчеркивает ученый, осмысливается поэтами в христианском контексте Пасхи, тогда как изображение трагической любви и гибели героя на фоне весеннего праздника жизни восходит к языческой традиции, связанной с древним культом предков, их весенним поминанием на погостах. Статья Т.И. Чепелевской посвящена анализу темы рода и семьи – одного из направлений осмысления истории в творчестве Пушкина и Прешерна ("Тема рода и семьи в творчестве А.С. Пушкина и Ф. Прешерна"). Русский поэт акцентирует внимание на вертикальном срезе истории, соотнесенности настоящего с прошлым и будущим через семью – звено в родовой цепи, поэтому глубокий смысл в творчестве Пушкина обретает образ дома. Путь развития национально-исторического самосознания Прешерна шел от осмысления своей принадлежности краинцам (Крайна – одна из словенских провинций, "малая родина" Прешерна) к признанию себя представителем всего словенского народа. Освоение истории у него происходит по горизонтали, при этом тема семьи приобретает подчиненное значение, а духовная связь с земляками воспринимается как более значимая, чем семейные узы.

Прямому сопоставлению шедевров словенского и русского поэтов посвятили свои работы А. Сказа, М. Яворник и М. Штухец. А. Сказа в статье «"Евгений Онегин" А.С. Пушкин и "Венок сонетов" Ф. Прешерна (культурологический эскиз)» сравнивает пушкинский роман в стихах и поэму Прешерна с культурологической точки зрения, прежде всего его интересует воздействие историко-культурного фона на творчество обоих поэтов и на осмысление ими задач литературы. Пушкин, стоявший перед дилеммой "империя и свобода", связывал тему культуры с темой жизни и ценности человека как такового, что

получило адекватное выражение в "Евгении Онегине". Прешерн же превратил собственный экзистенциальный кризис в апологию поэзии, создав "Венок сонетов". Культурологический аспект творчества Пушкина и Прешерна исследуется и в работе М. Яворника «"Медный всадник" Пушкина и "Крещение при Савице" Прешерна как парадигма двух культур». Исследователь задается вопросом, почему оба текста перерастают в прототекст, неизменно представляющий собою объект подражания, рефлексии и переработки, анализирует раскрывающиеся в "Медном всаднике" и "Крещении у Савицы" архетипические связи, ставшие узнаваемой константой культуры и национального самосознания. М. Штухец, сравнивая "Крещение у Савицы" с "Евгением Онегиным" с точки зрения повествовательной стратегии («Статус повествователя и его влияние на повествовательную структуру "Крещения у Савицы" и "Евгения Онегина"»), приходит к выводу, что эти произведения отличаются как по месту и роли в них повествователя, так и по характеру диалога.

В.А. Хорев сопоставляет "Крещение у Савицы" с поэмой А. Мицкевича "Конрад Валленрод". В статье «Поэмы А. Мицкевича "Конрад Валленрод" и Ф. Прешерна "Крещение при Савице"» подчеркнута схожесть роли романтизма в утверждении национального самосознания в польской и словенской литературе, рассмотрена типологическая близость поэм, выражающаяся в обращении к национальной истории соотносении исторического сюжета с проблемами современности, в образах главных героев, в жанровой общности произведений.

М. Кмецл в своем исследовании «Прешерн и история об Элоизе и Абельяре (еще одна попытка истолкования поэмы Прешерна "Крещение у Савицы")» соотносит сюжет поэмы Прешерна со средневековой историей об Элоизе и Абельяре. В статье А. Белчевича "Традиционные стихотворные формы Прешерна" рассматриваются истоки стихотворных форм поэта, относящиеся к двум традициям: словенской и романской (западной). А.Г. Шешкен в статье «Вклад ученых русской эмиграции в изучение русско-югославских литературных связей ("Белградский Пушкинский сборник")» подробно останавливается на издании русских ученых-эмигрантов – "Белградском Пушкинском сборнике" (1937), освещающем восприятие пушкинского творчества в югославских литературах.

Таким образом, материалы, опубликованные в сборнике "Ф. Прешерн – А.С. Пушкин", охватывают различные литературоведческие и культурологические аспекты творчества великих славянских поэтов. При этом можно отметить, что больше всего внимания уделено таким проблемам, как типологические параллели поэзии Пушкина и Прешерна; значение их творчества для формирования национального самосознания и литературы; взаимовлияние славянских литератур эпохи романтизма. Книга будет интересна и полезна как пушкинистам и прешерноведам, так и всем, занимающимся проблемами славянского романтизма и вопросами формирования национального самосознания славянских народов.

© 2002 г. А.Е. Евстратова

Славяноведение, № 5

История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. III: Литература конца XIX – первой половины XX века (1890-е годы – 1945 год) / Отв. ред. Л.Н. Будагова

Начало третьего тысячелетия для коллектива ученых Института славяноведения РАН ознаменовалось завершением большого коллективного труда и выходом в свет последнего (третьего) тома "Истории литературы западных и южных славян", охватывающего период с конца XIX до первой половины

XX в. (1890-е – 1945 год) (I и II том вышли в 1997 г.). Рецензируемый том "Истории" состоит из трех частей: ч. I – "Литература на рубеже XIX–XX вв. (1890–1918)", ч. II – "Литература межвоенного двадцатилетия (1920–1930-е годы)" и ч. III "Литература периода Второй мировой войны (1939–1945)".

Избранное авторами деление логически обосновано и соответствует трем важным историческим этапам развития общества и трем периодам развития как славянских литератур, так и всего мирового литературного процесса. Периодизация истории литературы, причем новейшего времени – один из самых трудных и дискутируемых вопросов. Определенную долю условности в его решении признают и авторы "Истории" (С. 7). И все же к этому вопросу найден наиболее целесообразный и обоснованный подход, связывающий опыт исторического развития славянских народов с опытом развития их литератур.

«...Разрешить... проблемы с периодизацией, – читаем в статье "От редколлегии", – помогают явления и события мировой истории, имеющие свою датировку. Важнейшие из них становились рубежами национальных историй, а влияя на жизнь славянских народов, динамику и облик их литератур – вехами в их развитии» (С. 7).

Условия развития славянских литератур принципиально отличались от условий развития литератур Западной Европы. Для последних конец XIX – начало XX в. был периодом мира и стабильности, что дало основание этот период назвать "belle époque", даже несмотря на упаднические настроения, царившие среди творческой интеллигенции fin de siècle (конца века). В странах Западной Европы почти четверть века не было ни войн, ни революционных потрясений, тогда как в славянских странах Центральной и Юго-Восточной Европы, находившихся под иностранным игом, уже с конца 70-х годов XIX в. начался период войн (Русско-турецкая, Балканские, Первая мировая) и революций (1905, 1917), приведших их к освобождению и обретению государственности. Несмотря на неблагоприятность социальнополитических условий и национальное притеснение, "возрождались из пепла литературы подневольных славянских народов" (С. 12), сохраняя при этом свое национальное своеобразие. Становление литературных национальных традиций проходило на фоне активного формирования их национальных языков. Авторы "Истории" подчеркивают значимость фактора ускоренного развития, коснувшегося всех славянских культур, отмечая одновременно его неравномерность. По сути процессы национального освобождения и борьбы за независимость охватили целый период начиная с 80-х годов XIX в. и кончая Первой мировой войной. Славянские литературы, имея свою специфику, развиваются не в изоляции, а с использованием опыта и общих закономерностей мирового литературного процесса.

Авторы "Истории" видели свою задачу не

только в точности и объективности показа сложных процессов в литературах западных и южных славян, но и в "ликвидации белых пятен" и "перегибов в оценке отдельных литературных явлений" (С. 7, 8). И в этом заключалась главная трудность, но она по сути и определила новизну подхода и оценок литературного развития в целом, творчества отдельных писателей и даже отдельных произведений. К деформации отражения литературного процесса приводило не только идеологическое давление, "классовый" подход к культуре и ее деление на прогрессивную и реакционную, но и открытые запреты некоторым авторам и произведений чем-то не угодивших эпохе социалистического строительства. Кроме того, из истории литературного процесса была исключена и эмигрантская литература, представлявшая огромную эстетическую значимость.

Авторский коллектив не только декларировал свою свободу от идеологической предвзятости, схем, инерции (С. 8), но и воспользовался ею с максимальным эффектом: создан серьезный универсальный труд, обобщающий опыт развития южно- и западнославянских литератур, охваченный единой концепцией, представляющий сложность и драматизм истории литературы, связанной с борьбой народов за национальную независимость, за сохранение национального самосознания, языка, этнокультурных традиций.

В первой части тома III представлены литературы восьми стран: польская, чешская, словацкая, серболужицкая, сербская, хорватская, словенская и болгарская; во второй и третьей частях к ним прибавилась македонская литература.

Со времени выходов в свет "Истории славянских литератур" А. Пыпина и В. Спасовича (1879, 1881) прошло 123 года. Их исследования закончились 70-ми годами XIX в. Попытки продолжить их труд ни в советском, ни в русском литературоведении не было. Правда, ученые Института славяноведения создали серьезные труды по отдельным славянским литературам. Широко известны "Истории" польской, словацкой, очерки истории чешской и болгарской литератур, исследования, отражающие процессы развития литературных направлений, жанров, творчества отдельных писателей и т.д.

Автором III тома пришлось не только впервые создавать обобщающий труд сложного и плодотворного периода в развитии этих и других славянских литератур, но и ликвидировать известную деформированность в его освещении. Достаточно вспомнить, что старшим поколениям исследователей пришлось на себе испытать жесткость цензуры и

репрессивность советского режима, распространявшиеся на литературу и литературоведение.

Отмечу особенности структуры III тома "Истории". Каждому из обозначенных периодов предпосылается "Введение" (автор Л.Н. Будагова), в которых определяются цели и задачи исследования, основные идейно-художественные тенденции, общие закономерности и специфика развития литератур южных и западных славян.

Итак, согласно периодизации литературного процесса, предложенной авторским коллективом, для первого этапа развития литературы (90-е годы XIX в. – 1918 г.) характерным было проблемно-художественное и жанрово-стилевое ее обновление. В этот период в литературу пришло новое поколение, провозгласившее новые эстетические принципы, доминирующей становится поэзия, в прозе активизируются процессы лиризации и психологизации, усиливается "критико-аналитическое начало", которое, по мнению авторов, "способствует освобождению реализма от романтических примесей" (С. 15). Однако такое "освобождение" было актуальным не для всех славянских литератур. Скажем, в польской литературе романтизм, правда, видоизмененный под натиском времени, становится одним из наиболее значимых литературных течений и даже приобрел новое название "неоромантизм" [1. С. 6]. Возможно, отношение к романтизму было различным в славянских литературах и определялось оно не только общими закономерностями, но и национальными особенностями и своеобразием национального менталитета.

Авторы III тома отмечают изменение характера литературных связей славянских писателей с зарубежными. На рубеже веков они помогают не столько осваивать чужой опыт, сколько создавать оригинальные литературные явления, способствовать своеобразию творчества отдельных писателей (С. 15).

В традиционном литературоведении развитие славянских культур трактовалось в русле двух противоположных тенденций: реалистическая ассоциировалась, как правило, с гражданским служением литературы; декаданс и модернизм – с проповедями искусства для искусства (С. Пшибышевский). В традиционном литературоведении реализм и модернизм рассматривались как явления конфронтационные. Авторы "Истории" предлагают к ним новый подход, показывая их во взаимовлиянии и взаимодополнении, что отмечается и как общая тенденция (С. 22, 23), и как особенность в развитии отдельных славянских литератур: польской (С. 29–31),

чешской (С. 82–83), сербской (С. 245), болгарской (С. 343).

Авторы труда показали сложность путей развития литературы каждого народа, подчеркивая, что это развитие проходило в контексте культур славянского мира и мирового литературного процесса. Как и в западно-европейских литературах, наряду с реалистическим методом развиваются направления натурализма, экспрессионизма, символизма и др. Все они вырабатывали собственные эстетические критерии, новую систему идейных и нравственных ценностей, соответствующих новому социальному мироустройству. Следует учесть и то, что в каждой литературе они имели свою специфику и различную степень популярности.

В литературной истории рубежа веков можно выделить две главные тенденции: дифференциацию (развитие литературы каждого народа и проявления ее национального своеобразия) и интеграцию (вырабатывание общеславянских черт культуры и вхождение ее в мировой литературный процесс). На фоне и под влиянием сложнейших исторических процессов – кровопролитных войн, в том числе и мировых, революций, разрушения колониальных систем, обострившихся социальных противоречий – проходило у славянских народов возрождение или становление государственности и становление нового этапа в развитии их литератур, когда пришло и заявило о себе новое поколение, развивавшее и поддерживающее в своей деятельности и творчестве новые идеи, проблематику, художественные принципы. Его появление было знаковым: в литературах западных и южных славян создавались организации и направления в названиях которых фиксировалось участие молодежи: "Молодая Польша", "Молодая Чехия", "Млада Боска" и др. Процесс обновления коснулся всех видов литературы: прозы, поэзии, драмы, театра и критики. Авторы труда подошли к этим проблемам по-разному и по-разному отразили развитие литературы отдельных народов.

Уместно отметить, что редколлегия III тома "Истории" уделила внимание форме и распределению материала по национальным литературам, учитывая факт возрастания роли каждой из них в процессе общего ее развития и значимостью вклада в мировую культуру. Приоритетное положение, как и в историческом прошлом (Т. I и II), по-прежнему отводится польской литературе (авторы Н.А. Богомолова, О.Р. Медведева), давшей миру двух лауреатов Нобелевской премии: Г. Сенкевича и В.С. Реймонта. Деятелем культуры европейской значимости, идеологом декаданса, проявившим себя во

многих жанрах и видах литературы, был С. Пшибышевский. Широкую известность получил драматург, художник, поэт, реформатор театра С. Выспяньский. Общепризнанным в эпоху "Молодой Польши" был литературный авторитет писателя и общественного деятеля С. Жеромского.

Авторы главы "Польская литература" показали историю развития и идейно-художественные особенности литературы в контексте исторического своеобразия и трагизма эпохи. На фоне раздела страны и национального притеснения народа наблюдается стремительное обновление литературы, активизируются ее связи с культурой Западной Европы и России, возрастает ее роль и участие в мировом литературном процессе. К удаче авторов главы можно отнести и новый подход к явлениям литературы, заключающийся в оценке роли модернизма и показе его взаимодействия с реалистическим методом. Правда, вряд ли можно согласиться с некоторыми терминами, порой встречающимися в рассматриваемой главе: на с. 51 – "роман с тезисом" (в русской терминологии "роман с ключом"); "нарративный палимссест" (С. 64) – форма повествования; "неудержимый лиризм" (С. 65) – литературное направление.

Чешская литература рубежа веков (Л.Н. Будагова) представлена как период поворотный, "предопределивший особенности ее дальнейшей судьбы" (С. 77). По мнению автора, чешская литература "уверенно приближается" к уровню самых развитых зарубежных литератур и атмосферу ее развития "определяет серьезная переоценка ценностей, идеалов, представлений о ее функциях" и "резкая полемика" между поколениями писателей (С. 77–78). Следует отметить, что вся глава "Чешская литература" выдержана в аналитическом ключе: историко-политические события в ней представлены не как фон, а как жизненный аспект литературно-исторического процесса, качества которого определяют литературные направления (реализм, модерн и другие "измы", свойственные эпохе), в чьем русле развивается творчество наиболее значимых их представителей. Автор подчеркивает многогранность литературы рубежа веков, ее критический характер, исходящий из противоречий развития общества. В разделе представлены и малоизвестные, но имевшие важное значение факты: полемика вокруг статьи Жауэра "Два наших вопроса" (С. 82), роль чешской модерна в создании психологических предпосылок для дальнейшего успешного развития всей литературы (С. 83); наряду с известными писателями С.К. Нейманом, П. Безручем, А. Совой и другими,

введены имена и менее известные (Я. Демла и др.); уделено значительное внимание и "женской" литературе: Б. Бенешова, А.М. Тильшова.

В отличие от новаторских поисков в поэзии и прозе, чешская драма "выполняла, – как считает автор, – традиционную миссию – пробуждать патриотические чувства, просвещать и воодушевлять народ" (С. 124), хотя и драма представлена различными направлениями (романтическим, реалистическим, модернистским). Особая роль в ее развитии принадлежит режиссеру, драматургу и реформатору чешского национального театра Я. Квапилю, представившему чешскому зрителю лучшие образцы мировой классики.

Драматично сложилась на рубеже веков судьба сербов и их культуры: ее развитие сопровождалось войнами, подавлением крестьянского восстания (1883), запретом оппозиционных правящей власти партий и движений. Однако и в этих условиях "усиливаются национально-патриотические настроения", и среди молодой интеллигенции становится популярной "идея объединения югославских народов" (С. 197). Своеобразие социально-исторических условий, как справедливо отмечает автор раздела Р.Ф. Доронино, отразилось на развитии литературы: в ней "мифологизируется историческое прошлое", особенно битва с турками на Косовом поле, культивируются настроения о жертвенности и избранности сербского народа, создается национально-патриотическая организация "Млада Босна", в программе которой в причудливых формах идеи Чернышевского, Бакунина, Герцена соединяются с идеями Ницше и Кьеркегора. Литературный процесс развивается интенсивно, особенно в крупных городах Белграде и Мостаре, ставшими центрами культуры: создается Национальный театр, Сербская академия наук, работает крупное издательство, создается литературная периодика, ширятся контакты с деятелями культуры Западной Европы и России. Автор раздела подчеркивает значимость для развития сербской литературы художественных переводов и учебы творческой интеллигенции за границей. Это давало возможность сквозь призму возросших контактов увидеть и оценить собственную историю и литературу (С. 199). В развитии сербской литературы особую роль автор отводит критике, литературоведению и научно-популярной периодике. Особенно популярным был литератор-просветитель Йован Скерлич – сторонник своеобразной "открытости" сербов к миру западных и русской культур. Автор раздела считает, что сербская поэзия раньше прозы и драмы

"шагнула в новый век" (С. 206). Ей было свойственно "обновление языка", "классическая строгость стиля". В реформе стиха особо отмечается роль поэта – "предтечи модернизма" Войслава Илича (С. 206–207). В разделе представлены микролитературные портреты поэтов разных направлений и школ, творчество которых сыграло решающую роль в развитии сербской литературы (М. Петрович, М. Якшич, А. Шантич и др.). В прозе рубежа веков Р.Ф. Доронина подчеркивает значимость исторической проблематики, сыгравшей важную роль в развитии национально-освободительных идей и настроений в обществе. Однако особый успех отмечался в сатирико-юмористической прозе, связанной с творчеством Сремаца, Домановича, Нушича (С. 229–230). В разделе показано творчество писателей разных поколений, вышедших из различных слоев общества. В литературно-творческих зарисовках о них автор показывает идейно-художественные особенности и роль в литературном процессе рубежа веков. К сожалению, в разделе очень мало места отводится драматургии, поскольку автор считает, что она "уступала по интенсивности другим видам литературы" (С. 249). Явно недостаточно показано драматургическое творчество Бронислава Нушича, комедии которого переведены на многие языки и не утратили популярности и до сегодняшнего дня.

В условиях обострившейся национально-освободительной борьбы, балканских войн и растущих социальных противоречий произошло развитие болгарской литературы на рубеже XIX–XX в. Автор раздела В.И. Злыднев считает, что "ведущим направлением в ней оставался реализм" (С. 311), правда, приобретший острую критическую направленность. Превалировавшим видом была повествовательная проза на современную тему. Как следует из анализа творчества прозаиков Г. Стаматова, А. Страшимирова, Э. Пелина, в прозе преобладали традиционные художественные приемы, хотя уделялось внимание не только социальным, но и психологическим конфликтам и особенно проблематике городской жизни. Отличительной чертой болгарской литературы было возрождение романтических традиций в прозе (Страшимиров), новые подходы к крестьянской проблеме: показ социального расслоения деревни и жизни сельской интеллигенции (Пелин). Как подчеркивает автор, важную роль в становлении культуры сыграл передвижной "Современный театр" (к сожалению, в разделе отсутствует точная дата его открытия). Его режиссер М. Икономов ввел в репертуар театра зарубежную, национальную

и русскую драматургию. В разделе приводятся любопытные факты, не имевшие в других культурах столь широкого распространения, как в болгарской: переработка в драму национальной и зарубежной прозы и поэзии. Преуспевает в этом процессе И. Вазов. По его произведениям в "Народном театре" только за 1907 г. было поставлено 150 спектаклей. Отличительной чертой болгарской культуры было приобщение широких масс к искусству посредством зрелищных его видов. Этим объясняется и популярность драматургии, и необыкновенная активность в создании театров. Как утверждает автор, реалистические тенденции превалировали и в поэзии. Свидетельствует об этом творчество П. Славейкова и П. Яворова, новаторские поиски которых осуществлялись в пределах реалистического мировоззрения. Правда, В.И. Злыднев упоминает и о модернистских тенденциях и символизме в поэзии (Т. Траянов, Л. Стоянов, Д. Бояджиев). Говоря о "социальной почве в Болгарии для появления символизма" (С. 343), автор, однако, рассматривает его не как самостоятельное направление, а как своеобразный эксперимент в реалистической поэзии. Исходя из содержания раздела о болгарской литературе, можно сделать вывод о том, что в ней не произошло значительного обновления, а скорее продолжалось развитие социального реализма и его критических тенденций, но с возрастанием внимания писателей к внутреннему миру личности.

Что касается литератур других народов: словацкой (Ю.В. Богданов), серболужицкой (А.А. Гугнин), хорватской (Е.В. Степанов), словенской (М.И. Рыжова), – то их судьбы оставались трагическими. В этих странах продолжалось национальное угнетение и сохранилась колониальная зависимость от более сильных государств, однако, несмотря на тяжелые условия, и этих народов коснулись важные социально-исторические перемены, приведшие к ускоренному развитию культуры. Авторы разделов отмечают противоречивость, сложность и неоднозначность эпохи рубежа веков и специфику, сложившуюся в литературе каждого народа. Для словацкой – это был период "негромкой эстетической революции", в серболужицкой – превалировали тенденции сплочения серболужичан, живших в немецком окружении, в словенской – отмечалось стремление преодолеть отставание и активизировать связи с другими культурами. Общим для этих культур было преобладание в них реалистической направленности, связанной с критикой современной действительности. Одной из главных проблем оставалась нерешенность национального вопроса и именно это определяло

идейную направленность их литератур, и внимание к национальной проблематике. Тем более, что над некоторыми культурами нависла угроза принудительной ассимиляции (словацкая, серболужицкая). Литература в подобных условиях служила "традиционным прибежищем национального духа" и была "чуть ли не единственной формой публичного выражения патриотической идеи" (С. 133). Оценка, данная Ю.В. Богдановым словацкой литературе, может быть определяющей и для литератур серболужицкой, словенской, хорватской, хотя в последней преобладали не реалистические, а модернистские тенденции (С. 252). Общим для этих литератур было внимание к национальному вопросу и трагизм в восприятии современной действительности, что определило пессимизм, присущий как старшему, так и младшему поколениям литераторов, хотя последние пытались противопоставить "старшим" свои идейно-художественные программы. Однако, как утверждают авторы разделов, творчеству всех поколений был свойствен одинокий страдающий герой, живущий в инонациональной среде, отчаявшийся от безысходности и бесперспективности борьбы. С его помощью писатели показывали собственные душевные переживания, связанные с осмыслением трагедии современности и исторического прошлого своих народов. И все же в литературах произошли принципиальные идейно-художественные изменения, заключавшиеся в освоении мирового опыта, "углублении социально-психологического анализа" и создании "тонкой артистически совершенной лирики" (С. 309), во "внедрении в литературу новых субъективированных форм выражения внутреннего мира индивидуума" (С. 172). Кроме того, авторы всех разделов подчеркивают факт вхождения южно- и западнославянских литератур в европейский и мировой литературный контекст.

Развитие культуры было прервано Первой мировой войной, приведшей к разгрому и падению Австро-Венгерской и Российской империй и Прусской монархии, под властью которых находилось большинство славянских народов. Для них завершение войны стало концом чужеземного господства. С 1918 г. начался новый исторический этап для всех славянских народов: построение независимых государств (за исключением серболужицкого). В литературоведении этот период представлен деформированно, в нем изобилуют "белые пятна", запрещенные советской цензурой писатели и произведения. Авторам "Истории" пришлось вырабатывать не только новые критерии оценок литературного процесса, но и вводить новые имена и произведения в

литературоведческий обиход. Следует отметить, что автор предисловия Л.Н. Будагова особо подчеркнула, что в межвоенный период внутренняя и внешняя свобода выбора и выражение своей позиции писателем была максимально возможной (С. 359). Несмотря на то, что период национальной самостоятельности длился лишь немногим более 20 лет и его временные границы были охвачены двумя мировыми войнами, литература этого периода развивалась с небывалой интенсивностью. Процессы обновления охватили все ее виды и жанры. В семье южнославянских литератур оформилась в самостоятельную македонская литература (С. 706–730), процесс становления и развития которой с 80-х годов XIX в. до конца Второй мировой войны представлен А.Г. Шешкен.

Несмотря на послевоенные трудности и растущие социальные противоречия, для всех литератур региона создаются благоприятные условия. Обретенная в тяжелой борьбе независимость способствовала изменению настроения масс и тональности в литературе. Их принято называть виталистическими (С. 351–352; 360; 424–425; 480; 571). Авторы всех разделов подчеркивают, что радость освобождения славянских народов способствовала развитию множества творческих школ и литературных направлений. Возросла заинтересованность современной проблематикой. Литературу межвоенного периода исследователи делят на два этапа: 20-е и 30-е годы. Эта цезура определялась внутренними причинами для каждой литературы и внешними, международными. Последние Л.Н. Будагова справедливо связывает с экономическим кризисом конца 20-х годов, обострением социальнополитической обстановки и приходом к власти Гитлера (С. 353). В литературоведении и национальных славянских литературах 20-е годы принято считать периодом оптимизма, в нем превалировала поэзия, давшая миру творчество Ивашкевича, Слонимского, Тувима (С. 367–372), Сейферта, Незвала (С. 435–438), Милева, Смирненского (С. 671–679) и др. Новые условия жизни и "накопленные ресурсы, — пишет Будагова, — дают авторам более широкие возможности направить свою энергию на воплощение самого широкого круга проблем, на максимально полное самовыражение и повышение эстетического уровня родной словесности" (С. 352). Национальное самовыражение, естественно, активизировалось в литературах стран, обретших независимость. И хотя каждая из них имела свою специфику, однако опиралась на общие закономерности, в русле которых проходило развитие всех народов и их культур. 20-е годы, как отмечают исследователи, были

периодом не только обновления, но и дифференциации писателей по мировоззренческим и по художественным принципам (С. 352).

Показательной в этом плане была литература Польши, для которой 1918 г. был не только годом обретения национальной свободы, но и началом нового этапа развития литературы, проявившегося в принципиальных изменениях концепции мира и человека, идейной направленности и художественных ценностей. В 20-е годы доминировала поэзия, как правило, оптимистического звучания. Автор раздела О.Р. Медведева представляет ее различными группировками, выступавшими со своими программами и художественными правилами, правда, учитывавшими и мировоззренческие принципы поэтов. Однако всех объединяла радость обретенной свободы. И это подчеркивали представители всех групп и направлений в поэзии. Изменение тональности в поэзии автор связывает с двумя датами: майским переворотом 1926 г. и началом 30-х годов, утверждая, что во втором десятилетии в ней "преобладает катастрофическое мироощущение" (С. 381).

Проза в разделе "Польская литература" представлена согласно типологии методологической (реализм – модернизм, а точнее не-реализм) и рассмотрена в различных жанрово-видовых и эволюционных проявлениях. В орбиту внимания автора попали лучшие произведения как реалистического, так и "нереалистического" направлений. Анализ прозы всего двадцатилетия начинается с романа М. Домбровской "Ночи и дни" (1932–1934), названного автором "высшим достижением классического реализма" (С. 383). Существенное место, по словам автора, в польской литературе двадцатилетия занимает психологизм (С. 384), в его ракурсе рассматривается творчество Налковской – от "Романа Тересы Геннерт" (1924) до "Нетерпеливых" (1939), Ивашкевича – от "Зенобии Пальмуры" (1920) до новеллистики 30-х годов, Кунцевич ("Чужеземка") и проза молодого поколения, дебютировавшего в 30-е годы (М. Хороманский, А. Рудницкий, Т. Бреза).

Серьезное внимание уделено прозе "малого реализма" (С. 389) и группе "Предместье" (вариант польского натурализма и принципа фактографии. – С.М.). О.Р. Медведева считает, что даже в романе З. Униловского "Общая комната" "налицо натуралистическая концепция мира и человека" (С. 391). Автор подчеркивает важность процесса политизации литературы, коснувшегося творчества писателей различных мировоззренческих (Жеромский, Налковская, Кручковский, Ю.Каден-Бандровский) и творческих позиций: проза экспрессионистская, к которой

отнесены не только романы Ю. Кадена-Бандровского и Я. Виктора (С. 392), но и произведения о Первой мировой войне С. Рембека и В.С. Реймонта (С. 394–395). О.Р. Медведева отмечает изменения в жанре исторического романа (С. 395, 396), в котором "жанровый авторитет" использовался "для полемики с национальными стереотипами" (С. 396). Возможно, излишне много внимания уделено группе "Предместье" и проблемам "малого реализма" – в 30-е годы эти явления имели основания на определенную популярность, но в настоящее время, за очень малым исключением, интерес к ним практически утрачен.

Заслуженное внимание уделяется польской модернистской прозе – одной из самых оригинальных в литературе славянского мира. Автор представляет творчество и ее старших поколений Р. Яворского, С.И. Виткевича (Виткация) и писателей, пришедших в литературу после 1932 г. – В. Гомбровича и Б. Шульца. В процессе развития этих направлений автор отмечает роль Виткация – всестороннего таланта – художника, драматурга, прозаика, теоретика искусства, философа. Раскрывая сущностные положения философии и художественного мастерства писателя, О.Р. Медведева прослеживает их практическое воплощение в конкретных произведениях "Прощание с осенью", "Ненасыщение" (в главе – "Ненасытность") и влияющие на творчество младших поколений. Возможно, было бы целесообразно подчеркнуть роль 1932 г., особенно в развитии поэзии и прозы. О значении этой цезуры писали И. Фик, С. Жулкевский, В. Хорев.

Рассмотрение драматургии как единого процесса в межвоенной литературе вполне обосновано, так как принципиального различия между драмой 20-х и 30-х годов не наблюдалось. Автор раздела выделяет два магистральных ее направления: реалистическое в его основных проявлениях (драма социально-бытовая, психологическая, историческая) и авангардное (Виткаций, Пайнер, Ясенский, Гомбрович).

Авторы разделов о чешской (Л.Н. Будагова), словацкой (Ю.В. Богданов), сербской (М.Б. Ешич), болгарской (В.И. Злыднев), хорватской (Г.Я. Ильина), словенской (В.В. Сонькин) в межвоенной литературе выделяют два периода: 20-е и 30-е годы. В первом периоде во всех названных литературах доминировала поэзия различных мировоззренческих и идейных направлений и школ, отличавшихся смелостью художественного поиска, активным использованием традиций мировой и национальной литератур. В чешской, хорватской и болгарской

литературах авторы отмечают значимость связей с советской литературой. Особой популярностью пользовались Горький и Маяковский. Многим деятелям культуры тогда казалось, что Октябрьская революция принесет в мир свободу, и ее тема становилась все более актуальной (Крлежа, Волькер, Понижан, Смирненский). В серболужицкой, сербской, словенской и македонской поэзии значительную роль сыграли символизм и экспрессионизм, имевшие также свои национальные особенности (С. 644).

В прозе 20-х годов авторы "Истории" обратили особое внимание на антивоенную проблематику, связанную прежде всего с трагическими последствиями Первой мировой войны, под знаком этой проблемы проходило развитие литератур Европы и США, хотя у славян она имела свою специфику, поскольку была связана с созданием легионов (Чехия, Польша) и движением за национальное освобождение своих стран. Если в литературах о Первой мировой войне Запада и США превалировала проблематика, навеянная трагедией "потерянного поколения", то в славянских литературах трагедия войны по своему "существовала" с возможностью обретения независимости. Это и определило ее своеобразный трагический оптимизм, вызванный осознанием цены и огромных жертв, принесенных этими народами во имя свободы.

В современных исследованиях литературного процесса южных и западных славян нередко утверждается мысль о том, что в нем завывалась роль литературы социалистической идейности. Однако авторы "Истории" подчеркивают ее значимость, особенно в чешской, словацкой, болгарской и даже польской литературах, представляя творчество ее классиков Я. Чапека, Б. Ясенского, Л. Стоянова.

К сожалению, не все славянские народы обрели независимость после Первой мировой войны: не были воссоединены македонцы (С. 706–708), остались под немецким протекторатом лужицкие сербы. Это сказалось на развитии их литератур. А.А. Гугнин в серболужицкой и А.Г. Шешкен в македонской литературах отмечают подавление свободлюбивых тенденций, стремление властей к "онемечиванию" сербской литературы (С. 526, 527) и трагедии раздела страны и народа в македонской литературе (С. 715, 716). В них особую важность приобретала историческая проблематика, в русле которой решались проблемы современности (межвоенного периода). А.Г. Шешкен отмечает в македонской литературе усиление тенденций "социального реализма" и жанровое доминирование драмы

(С. 717–718). В серболужицкой литературе, как считает А.А. Гугнин, преобладала поэзия традиционно романтической и реалистической ориентации. Трагизм национальной зависимости, сказавшийся на развитии серболужицкой и македонской литератур, по своему был причиной своеобразного сохранения задач, идей и лозунгов национального освобождения и объединения народа, которые имели хождение в последней трети XIX – начале XX в.

Что касается ситуации в славянских странах, обретших независимость, то в их литературах в 30-е годы происходят серьезные изменения. Фашистская Германия, взявшая курс на новую мировую войну, изменила расклад сил в Европе, что отметили авторы "Истории". В литературах южных и западных славян это привело к смене настроений, идейной направленности и разрастанию пессимистических настроений. Все это способствовало утверждению тенденций катастрофизма и предчувствия новой трагедии (Виткаций, Чапек). "Временная дистанция" позволила писателям осмыслить значимость короткого, но такого важного исторического отрезка времени от окончания Первой мировой войны до прихода к власти Гитлера, по-новому осмыслить ее трагические уроки и показать важность перемен, связанных с обретением национальной свободы. Это стало возможным в больших эпических жанрах, прежде всего в романе. Приход в литературу нового поколения ее представителей способствовал ее художественному обновлению.

В 30-е годы в литературе возрастают пессимистические тенденции. Авторы "Истории" обращают внимание на смену жанровой доминанты: превалирующей в литературном процессе становится проза и прежде всего роман реалистического и модернистского направлений. Писатели пытались осмыслить в нем путь исторического развития своих народов и современную действительность (Коссац-Щуцкая, Домбровская, Майерова, Димов); усиливается внимание к внутреннему миру личности (Кунцевич), возрастает роль сатиры и гротеска (Чапек), происходит слияние социального и психологического факторов (Налковская, Кличка, Стоматов). Принципиально новые оценки в "Истории" получил модернистский роман. Авторы труда подчеркивают его художественную значимость и взаимодействие с реалистическим романом. В этом плане особую значимость приобретает проза Виткация, Гомбровича, Шульца. Правда, их творчество не успели освоить и осмыслить в 30-е годы. Его настоящее изучение началось лишь через несколько десятилетий

после Второй мировой войны. К сожалению, недостаточно представлено и творчество писателей социалистической ориентации, эмигрировавших в 20–30-е годы в СССР и уничтоженных сталинским режимом. Во всех славянских литературах в "Истории" в 30-е годы отмечается возрастание внимания писателей всех направлений к антифашистской и антивоенной проблематике.

Развитие славянских литератур было прервано Второй мировой войной, начавшейся внезапным нападением Гитлера на Польшу. Литература периода фашистской оккупации славянских стран, можно сказать, впервые осмыслена и представлена как самостоятельный этап в рецензируемом труде. Ее обычно относили или к межвоенному, или к послевоенному периоду (С. 742). Авторы "Истории" показали характерные черты оккупационного режима: перекрой фашистами государственных границ в славянских странах, установление жестокого фашистского "порядка" и деформацию процесса развития культуры. Часть писателей уехала в эмиграцию: в СССР, страны Западной Европы и США, но продолжала свое творчество за пределами родины. Так создавалась эмигрантская литература славянских народов. Многие деятели культуры воевали в регулярных армиях стран антифашистского блока. Наконец, значительная часть представителей творческой интеллигенции осталась в оккупированных странах и создавала литературу Сопротивления. Все

виды и направления этой литературы нашли освещение в "Истории". Прежде всего принципиально новые оценки получило творчество писателей-эмигрантов, литература о Армии Крайовой и Армии Андерса, о Варшавском восстании и др.

Том III рецензируемого коллективного труда ученых Института славяноведения РАН появился в начале нового тысячелетия в период переосмысления опыта исторического прошлого и связанных с этим переоценок научных и художественных ценностей. Свидетельством этому и служит трехтомная "История литератур западных и южных славян" и в особенности третий ее том, охватывающий наиболее сложный и деформированный в бывшей советской науке о литературе период. Заслуга авторского коллектива заключается в оригинальности и новизне трактовок столь сложного и противоречивого литературного процесса.

"История литератур западных и южных славян" будет одинаково интересна и полезна и представителям высокой науки, и студентам вузов, и широким кругам читателей.

© 2002 г. С. Мусиенко

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Podraza-Kwiatkowska M.* Literatura Młodej Polski. Warszawa, 1992.

Славяноведение, № 5

Słowiańskie słowniki gwarowe / Pod red. H. Popowskiej-Taborskiej (= *Slavica. Prace Słowistyczne 110*). Warszawa, 2000. 298 S.

Славянские диалектные словари

Институт славистики Польской академии наук организовал в Варшаве 20–21 октября 1999 г. IX конференцию, посвященную памяти профессора Здислава Штибера. Темой конференции были "Славянские диалектные словари" с особым вниманием к лексикографическому наследию Б. Сыхты. Рецензируемая книга содержит тексты 23-х докладов, прочитанных на конференции. Книга состоит из предисловия редактора и двух частей.

Первая часть – "Славянская диалектная лексикография" – содержит доклады как по польской лексикографии (с выделяющейся силезской проблематикой), так и по некоторым вопросам восточно- и южнославянской лексикографии. Эта часть открывается докладом Е. Рейхана (Краков) «"Словарь польских говоров" как синтез польской диалектной лексикографии», в котором представлены принципы составления словарных статей в

этом сводном словаре, отражающем польскую диалектную лексику последних двухсот лет (представление фонетической формы заглавных слов, формулировка значений, синтаксические конструкции, фразеология).

К. Возняк (Краков) в докладе "Состояние польской диалектной лексикографии в конце XX в." дал обзор польских лексикографических источников четырех групп: 1) большие диалектные словари, изданные в виде отдельных книг; 2) небольшие диалектные словари и словарики, помещенные в журналах и монографиях; 3) большие и средние рукописные диалектные словари; 4) диалектные атласы. Эти источники охарактеризованы в контексте их использования при составлении сводного "Словаря польских говоров". Источники первой группы классифицируются по следующим критериям: географический охват (общедиалектные; словари одного диалекта; региональные; локальные), тематика, способ подачи материала (алфавитный; тематический), методы составления (наличие и степень интерпретации). Источники второй группы не классифицируются. Источники третьей группы классифицируются по величине. Источники четвертой группы классифицируются по следующим критериям: дисциплина (лингвистические; этнографические), географический охват (ср. выше), тематика, методы составления (надписи, знаки; наличие и степень интерпретации); специально выделяется вопрос картографирования на пограничных территориях южной и восточной Польши и в районах распространения польского языка в соседних странах (*sząsiedztwo językowe*). В заключительной части доклада содержится тезис о том, что прежние диалектные словари и атласы концентрировались на языковом прошлом, а на современном этапе следует изучать польские говоры с учетом изменений, произошедших в языке сельских жителей в течение последних десятилетий (влияние образования и средств массовой информации; процессы интерференции в так называемых смешанных говорах или же интеграции говоров с региональными вариантами польского литературного языка).

Блок "силезских" докладов открывает Я. Майова (Варшава) – "Сравнительный словарь двух силезских деревень, Кшановице и Кшижановице". Лексика двух деревень, расположенных на польско-чешском пограничье (говор одной деревни – ляшский, другой – собственно польский), была записана в 1953 г. во время экспедиции под руководством проф. З. Штибера, который стремился выяснить, играет ли лексика какую-либо роль при определении границ между языками. Словарь не был закончен и хранится (частично в виде

машинописи, частично в виде картотеки) в архиве Института славистики ПАН. Вычислив процентное соотношение общего и индивидуального в лексике двух деревень, автор доклада считает возможным повторить тезис З. Штибера о том, что лексика не играет почти никакой роли (или играет очень небольшую) при определении границ между диалектами, а основная роль в разграничении соседних славянских диалектов и языков принадлежит фонетическим явлениям.

Б. Выдерка (Ополе) в докладе «О "Диалектном словаре Силезии"» охарактеризовал принципы отбора лексики для названного словаря, а также привел несколько словарных статей для образца.

Б. Кубок и З. Грень (Варшава) в докладе "Словарь Анджея Цинцялы в цешинской исторической диалектологии" охарактеризовали изданный в 1998 г. в виде репродукции рукописи диалектный словарь А. Цинцялы, цешинского нотариуса, общественного и религиозного деятеля, одного из вождей национального возрождения в Цешинской Силезии, который работал над своим словарем в течение сорока лет, начиная с 1845 г. Несмотря на то, что автор не был профессиональным филологом, ценность этого словаря исключительно велика, особенно с учетом того обстоятельства, что значительная часть содержащихся здесь силезских слов прежде не была известна.

Я. Вронич (Краков) в докладе "Диалектная лексика Цешинской Силезии в течение последних 200 лет" приводит избранные словарные статьи из "Диалектного словаря Цешинской Силезии" (1995), одним из авторов которого она является, а также из словаря, составляемого ею к рукописи XVIII в., происходящей из Цешинской Силезии и представляющей собой собрание проповедей (статьи из обоих словарей приводятся на одни и те же начальные буквы). Проведя сравнительный анализ, автор констатирует отсутствие значительных изменений в сфере основной лексики цешинского говора за последние 200 лет.

Ф. Чижевский и С. Вархол (Люблин) в докладе "Из лексикографических проблем польско-восточнославянского языкового пограничья" предложили ряд методологических соображений по составлению словарей, отражающих лексику названного региона. Обсуждаются языковая направленность словарей (одноязычный, двуязычный, два отдельных словаря), проблемы дифференциальности, хронологической глубины, отбора текстов, выделения и выбора заглавной формы, квалификаторов, типы дефиниции, проблема соотношения многозначности с географическим охватом словаря, вопрос контекста и др.

И. Грек-Пабисова (Варшава) в докладе "О словарях говоров староверов, живущих за пределами России" дала обзор трех словарей старообрядческих говоров (на территории Прибалтики, Белоруссии и Польши).

В. Шулевска (Ольштын) в докладе «Полонизмы в "Словаре бойковских говоров" М.О. Онышкевича» рассмотрела указанную лексику с точки зрения достоверности имеющих (или же отсутствующих) в словаре квалификаторов, распределения ее по частям речи и тематическим группам, а также хронологии и географии заимствования.

Э. Рудольф-Зюлковска (Варшава) в докладе "Лексика, уходящая в забвение (на примере диалектного словарика лемковско-бойковского пограничья)" представила принципы составления названного словаря, автором которого она является, а также дала анализ названий женской и мужской одежды у лемков и бойков.

В. Борысь (Краков) в докладе "Новейшие хорватские и сербские диалектные словари" дал обзор опубликованных за последние примерно 20 лет словарей чакавских, кайкавских, чакавско-кайкавских и штокавских (с особым вниманием к тимокско-призренскому) говоров. Библиография, включающая также некоторые более ранние словари, содержит около 60-ти названий, причем хорватские источники составляют более $\frac{2}{3}$ от общего числа.

Э. Вроцлавска (Варшава) в докладе "Словарь кайкавского села Гола" дала характеристику издания: *I. Večenaj, M. Lončarić Rječnik govora Gole. Srednjopodavska kajkavština. Zagreb, 1997.* Это первый в истории хорватской диалектологии столь обширный кайкавский словарь. Говор села Гола хорошо сохранился благодаря своему географическому положению – между Дравой и венгерской границей, за которой осталась ближайшая железнодорожная станция. В этом говоре сохранилась архаичная система взаимосвязи ударения и долготы. Акцентуационная система подравского кайкавского интересна для общего языкознания: такая же система предположительно существовала в полабском, сходный тип отмечался в нескольких македонских говорах и такая же система реконструируется для классической латыни. Достоинство словаря в последовательном обозначении ударений. Материал был собран носителем местного диалекта И. Веченаи и подготовлен к печати диалектологом проф. М. Лончаричем. Применяющаяся при обработке материала процедура выяснения семантики слов посредством специально сконструированных ситуаций подвергается автором доклада сомнению.

Э. Вольнич-Павловска (Варшава) в докладе "Личные имена собственные как документация заглавных слов в диалектных и исторических словарях" дала обзор лексикографической трактовки (включения или невключения) личных имен собственных в словацких и украинских (в сопоставлении с польскими) диалектных и исторических словарях (рассматриваются и некоторые словари общего типа, главным образом польские).

Вторая часть книги – "Труд ксендза Бернарда Сыхты и дальнейшие исследования кашубской лексики" – открывается докладом Х. Поповской-Таборской (Варшава) «Использование лексики, собранной Бернардом Сыхтой, в создаваемом "Кашубском этимологическом словаре"». Автор формулирует те черты, которые делают "Словарь кашубских говоров" Б. Сыхты исключительно ценным источником при этимологизации кашубской лексики: подлинность лексики, собранной "в поле"; точная локализация записей; нормализованная транскрипция; огромное число записанных слов, форм и значений. В докладе дан обзор слов, отмеченных только у Б. Сыхты и представленных в первых двух томах "Кашубского этимологического словаря", из области старинных верований, из разряда бранных и уничижительных слов, из числа интересных кашубско-южнославянских лексических схождения, из совокупности слов, локализованных Б. Сыхтой в его родном селе Пуздрове, а также некоторых других, заслуживающих внимания этимолога.

К. Хандке (Варшава) в докладе "Уходящая кашубская лексика (продолжение рассуждений)" проанализировала ту часть устаревшей и устаревающей кашубской лексики, которую составляют названия исполнителей действия и названия носителей признака. Особое внимание уделено социолингвистическому аспекту.

М. Пайонковска-Кенсик (Быдгощ) в докладе "Словарь коцевских говоров Бернарда Сыхты как источник для изучения народной культуры Коцева" дала, в частности, анализ коцевских названий носителей признака и того, как в них отразилась традиционная система ценностей. Делается вывод о том, что "суровые законы выживания в народной культуре весьма заметны" (С. 198).

Й. Оконёва (Краков) в докладе "Дериваты с приставкой *bez-* в словаре Бернарда Сыхты и в других диалектных словарях" дала анализ указанных дериватов, представленных в сводном "Словаре польских говоров", выделив лексемы, распространенные только в Поморье, а среди них – отмеченные только в кашубском словаре Б. Сыхты. Для дериватов с префиксом *bez-* приводятся (в случае нали-

чия) соответствующие беспрефиксальные формы и формы с префиксами *nie-* и *przez-*.

Е. Тредер (Гданьск) в докладе "Кашубские топонимические апеллятивы в словаре Бернарда Сыхты" дал обзор и анализ кашубских апеллятивов топографического и культурного характера, которые выступают или могли бы выступать в качестве имен собственных. Выделены основные семантические группы и подгруппы топонимических апеллятивов. В аналитической части нашли отражение такие вопросы, как границы рассматриваемой категории лексики и лексика переходного или неясного статуса; метафоричность; экспрессивность; структурные типы; заимствования и географическая локализация топонимических апеллятивов.

Е. Дума (Варшава) в докладе "Названия некоторых пригорков и холмов в словаре Бернарда Сыхты" предложил этимологии (иногда – с допущением альтернативных вариантов) для более чем десяти названий возвышенностей в Кашубии.

Э. Бреза (Гданьск) в докладе "Кашубские (и поморские) апеллятивы, выступающие в поморских фамилиях" представил небольшой словарь. Заглавным словом каждой статьи является поморская фамилия (нередко – с вариантами), далее приводится лежащий в ее основе апеллятив с его значением (значениями), а также с отсылкой к источнику. Даются также этимологические справки, касающиеся непосредственно апеллятивов.

Э. Жетельска-Фелешко (Варшава) в докладе «Диалектные элементы в "Словаре местных названий Западного Поморья"» показала, что одно из характерных кашубско-поморских явлений из области лексики и словообразования, известное до сих пор в кашубском и словинском, представлено также в западнопоморских диалектах. Речь идет об арахичной форме *kat* 'камень', продолжающей праславянское существительное **kamy*, G. sg. **katene*. Материалы создаваемого "Словаря местных названий Западного

Поморья" содержат ряд фиксации формы *kat* и ее дериватов на территориях к западу от р. Лебы и до о. Волин.

Б. Фалиньска (Белосток) и А. Ковальска (Варшава) в докладе "Названия, различающиеся объемом значения в кашубских и мазовецко-подляшских говорах" сопоставили названия, представленные в кашубском словаре Б. Сыхты и соотносимые с ними структурно и семантически мазовецкие и подляшские. В группе слов, имеющих и общие, и особенные значения, преобладают слова, располагающие одним общим значением, обычно совпадающим со значением, свойственным данной форме в литературном языке, а особенные значения представлены лишь в кашубском. Впрочем, отмечены и другие комбинации.

Завершает вторую часть книги доклад Е. Русека (Краков) "«Нищенствовать» и «нищий» в кашубских словарях". Здесь рассматриваются 9 обозначений для понятия 'нищенствовать' и 16 обозначений для понятия 'нищий'. Большая часть этих обозначений признается автором кашубскими инновациями. Здесь присутствуют также заимствования, прежде всего – немецкие.

Как можно видеть, книга отличается четкой, логичной композицией. Издание свидетельствует о подъеме, который характерен для современной польской диалектографии: продолжают уже начатые предприятия, готовятся новые, происходит осмысление и анализ материала, собранного и опубликованного в богатейшем корпусе диалектных словарей, атласов и монографий. С другой стороны, мы находим тут ряд общих положений, выводов из проведенного обследования материала и отдельных разработок, которые еще предстоит осмыслить и, возможно, развить. Следовательно, нет сомнений в том, что и сама эта книга будет широко цитироваться.

© 2002 г. А.А. Калашиков

M. HRDLIČKA. Predložky ve vyuce češtiny jako cizího jazyka. Praha, 2000

М. ГРДЛИЧКА. Предлоги в преподавании чешского как иностранного

Известный чешский лингвист Милан Грдличка – автор многочисленных трудов по исследованию грамматического строя современного чешского языка, теории и практике перевода, а также по преподаванию чешского языка как иностранного (ЧКИ). В рецензируемой книге разрабатывается проблема чешских предлогов как в аспекте лингвистическом (уже – грамматическом), так и дидактическом. По мнению автора, проблематика, связанная с функционированием предлогов в чешском языке, разработана недостаточно. Многочисленность (19 простых и более 500 сложных), высокая частотность (каждое десятое слово – предлог), многообразие и синонимичность значений чешских предлогов, различия в их стилистическом употреблении требуют более внимательного и подробного описания.

Автор критикует формальный подход, преобладающий в существующих грамматиках чешского языка, в которых предлоги рассматриваются лишь в связи с управляемыми ими падежами, где отсутствует системное описание предлогов и анализ их употребления в коммуникативном аспекте. В рецензируемой книге предлагается новое, нетрадиционное видение подачи учебного материала, в основе которого лежит системно-коммуникативный подход к отдельным языковым явлениям. В книге реализуется методологический принцип изучения предлогов, сгруппированных по значению, т.е. рассматриваются предлоги с местным, временным, причинным и другими значениями, что дает, по мнению автора, представление о языковых связях.

В работе М. Грдлички привлекает внимание ее необычная структура и композиция: наряду с рассмотрением чисто теоретических проблем, связанных с чешскими предлогами, подробным анализом соответствующей литературы (III глава), тонким и глубоким функционально-семантическим исследованием предлогов со значениями места, времени, причины, условия и цели (главы V–IX), в отдельной (II) главе дан подробный (возможно, излишне подробный) обзор того, как в ряде учебников ЧКИ представлены предлоги. Цель такого обзора – доказать необходимость

нового, предложенного автором, методологического подхода.

Следует отметить, что для русских богемистов и прежде всего для преподавателей чешского языка особенно интересны теоретические разделы. Автор, как уже было сказано выше, доказывает необходимость и эффективность изучения предлогов, исходя из их значения, объединяя их в семантические блоки, т.е. группы предлогов с точки зрения функционально-семантической достаточно "компактные" и не пересекающиеся со значениями других предлогов, составляющих иное семантическое целое. В IV главе автор доказательно приводит преимущества такого подхода, которые сводятся к следующему:

1. Наглядность, регулярность, системность, относительная полнота (представлены как основные значения, так и отдельные значения предлогов);

2. Ориентация на определенное значение, что дает возможность освоить семантические отношения между предлогами, выполняющими сходную функцию;

3. Возможность показать конкуренцию синонимичных конструкций (например, предложная и беспредложная конструкция: *jet pres les/lesem*, или номинативная конструкция с предлогом – придаточное предложение: *Po návratu vám zavolá – Až se vrátí, zavolá vám*).

VI глава ("Употребление предлогов DO + G и NA + AK со значением направления движения") представляет особый интерес для богемистов, преподающих чешский язык русским учащимся. Выбор одного из предлогов, указывающих на направление движения, бывает для них затруднителен, несмотря на системную близость обоих языков. Именно поэтому удачным представляется раздел VI главы, рассматривающий различные факторы, влияющие на выбор одного из предлогов. Автор пытается сформулировать правила употребления того или иного предлога, завершая подробный анализ наглядным выводом.

Приведем лишь его фрагмент, представляющий, по нашему мнению, интерес в плане сопоставительного анализа чешского и русского языков.

Фактор: семантика

do + G

объекты и пространства, характеризующиеся замкнутостью, ограниченностью, закрытостью, положением в центре, более низким положением, чем окружающее пространство. Например: *jet do centra (města), jít do kina, do lesa, do údolí;*

na + АК

объекты и пространства, характеризующиеся открытостью, незамкнутостью, центральным положением, высоким положением по сравнению с окружающим пространством. Например: *jít na náměstí, na kopec, jet na predměstí, na venkov;*

Фактор: общественная значимость объекта

do + G

объекты, не имеющие особой общественной значимости. Например, *jít do obchodu, do domu, do garáže;*

na + Ак

общественно значимые объекты (государственное управление, административные учреждения, высшая школа...). Например: *jít na ministerstvo, na magistrát, na velvyslanectví, na fakultu, na děkanát;*

Фактор: характер образованный по административному признаку

do + G

континент, государство, самоуправляемая территория (политические образования). Например: *jet do Asia, do Francie, do Bavorska, do Jihomoravského kraje, do okresu Breclav;*

na + АК

области и территории, выделяемые географически (не политически и не административно). Например: *jet na jižní Moravu, na Breclavsko, na Apeninsky poloostrov, na východní pobřeží USA.*

Приведенный фрагмент дает представление о структуре, содержании и, безусловно, необходимости представленного в монографии тонкого, детального и подробного описания употребления чешских предлогов.

В работе М. Грдлички удачно сочетаются коммуникативный подход подачи языкового материала и высокий лингвистический уровень. Особо следует отметить, что глубокий теоретический анализ, имеющий самостоятельную ценность, успешно используется автором в методических и дидактических целях применительно к преподаванию чешского языка для иностранцев.

© 2002 г. Т.А. Ацаркина



Конференция "Оппозиция сакральное/светское в славянской культуре"

13–14 ноября 2001 г. Отдел истории культуры Института славяноведения РАН (ИСл) провел названную конференцию в рамках проекта "Оппозиция сакральное/светское в славянской культуре", финансируемого РФФИ (грант РФФИ № 18081а). Ранее, в декабре 2000 г., был проведен "круглый стол" (материалы "круглого стола" "Религиозные мотивы в славянской культуре" были опубликованы в журнале "Славяноведение". 2002. № 1), в рамках которого выявлялись основные религиозные мотивы и их проблемное и национальное своеобразие в различных славянских культурах. На конференции же в центре внимания находилось рассмотрение содержания и особенностей категорий "сакральное" и "светское" (профанное) в культурах славянского региона. В конференции принимали участие сотрудники Отделов этнолингвистики, структурной типологии ИСл, преподаватели художественного училища им. Сурикова и МГУ им. М.В. Ломоносова, польская исследовательница современного российского театра К. Осиньская, а также молодые ученые, среди которых – аспиранты ИСл и МГУ. Было заслушано более 20 докладов.

Во вступительном слове зав. Отделом истории культуры Л.А. Софронова подчеркнула преемственность тематики конференции с указанным "круглым столом", но отметила принципиальное расширение проблематики. Она конкретизировала задачи конференции и предложила выдвинуть на первый план такой объект, как сакрализованные формы. Этот ракурс рассмотрения позволяет отойти от привычного формата исследования, когда сакральное представлено как соседствующее со светским и спорящее с ним. Неслучайно во

многих изданиях и в названиях конференций эти две зоны культуры объединяются соединительным союзом *и*. Проект же, по мнению докладчицы, предусматривает анализ их синтеза, исследование тех форм, которые образуются в итоге.

Кроме того, Л.А. Софронова как главный организатор конференции подчеркнула необходимость изменить и точку зрения на сам предмет исследования: наиболее плодотворным, по ее мнению, является изучение сакрализованных и "обмирщенных" (профанных) форм в широком историческом срезе и их сравнение не в хронологическом, а в типологическом аспекте. Существенным для анализа явилась и сама дефиниция сакрального и сакрализованных форм. На нетождественность религиозного и сакрального обращали внимание многие докладчики.

Г.Д. Гачев, рассуждая о диалектике сакрального и светского в культуре, сформулировал ряд наиболее существенных особенностей понимания оппозиции сакральный/светский в культуре вообще, и в славянской в частности. Он убедительно продемонстрировал, что именно эта оппозиция является не только основополагающей, но и наиболее важной для данного культурного региона. Гачев, говоря о сакрализованных формах, бытующих в различные историко-культурные эпохи, определил их отношения как диалектические и заметил, что они на самом деле неизменны, что меняется только выражение этих отношений. Ни одна культура, полагает он, не живет без сакрального. Только каждая из них по-разному выстраивает его отношения со светским, в результате чего и возникают синтезированные формы, т.е. сакрализованные. На материале русской культуры XIX–

XX вв. докладчик проследил, как "пустые места", которые образуются в результате множественных культурных сдвигов, находят свое "святое", обратив внимание на то, что в известной поговорке на самом деле смоделированы позиции сакрального в культуре.

Очередность докладов на конференции определялась не принципом временной исторической последовательности – организаторы сгруппировали выступления по объектам анализа оппозиции сакральное/светское. Движение объекта в истории было отложено в сторону. Таким образом, образовалось несколько предметных блоков: слово, текст, имя; изображение и живопись, театр, литература; власть и политика; природа; соотношение сакрального/светского в переломные эпохи. Такой подход доказал свою состоятельность и эффективность. В результате не только сталкивались мнения участников и их подходы, но и очень близко подходили друг к другу различные ипостаси изучаемого объекта, что давало возможность для плодотворных обсуждений конкретных проблем.

Так, доклад Н.М. Куренной о сакрализации терминов и текстов в советскую эпоху, с одной стороны, продолжил рассуждения Гачева о сакрализации мирского в советскую эпоху с резким сужением сферы религиозного, а с другой – предварил выступление М.В. Лескинен о сравнении образов святых в польской и русской письменных традициях XVII в. В этих выступлениях было показано, как в русской культуре столь разных эпох происходит взаимопроникновение мирского и сакрального начал, как они вытесняют друг друга и чем именно руководствуются авторы текстов, осуществляя даже некоторые "замены". Н.М. Куренная показала, что сакральное слово продолжает жить в светскую эпоху и оно формируется заново благодаря стараниям идеологов и политиков. Соответственно, были сделаны выводы о продолжительности их жизни в культуре. Кроме того, она показала парадоксальные условия формирования термина "социалистический реализм": как только ему "дали жизнь", то соцреалистическими объявили произведения, написанные ранее. А когда этот термин прижился и наполнился сакральными смыслами, искусство и литература уже постепенно отходили от соцреалистических канонов. Таким образом, будучи сакрализированным, этот термин будто повис в воздухе, а искусство уже пыталось жить вне его регламентов.

Н.М. Куренная также показала, как в советское время происходила подстановка на "пустое место" новых ценностных категорий, которые должны в идеале образовывать новую сакральную систему, четко противополо-

ставленную религии. Подстановка эта дополнялась явным требованием веры, а не только знания, что вновь сближало эту систему с религией. Новая система ценностей была призвана не только обслуживать, но и корректировать новую картину мира и образ человека в ней.

Сравнительный анализ оппозиции сакральное/светское в русских и польских исторических памятниках позволил М.В. Лескинен определить ее сходства и различия в этих двух разных конфессиональных культурах в XVII в. Вхождение сакрального начала в них выглядит по-разному: русские стремились конкретизировать и "обреальнить" чудесные явления и святых, которые приближаются к людям, наделены человеческими чертами; для польских же авторов сакральное происхождение не подлежало обсуждению, что обусловило большую дистанцию между человеком и святым. Вместе с тем процесс "очеловечивания" святых в православной культуре XVII в. в исследованных Лескинен источниках говорит и о необходимости их активного вовлечения в повседневную мирскую жизнь верующего, конкретизацию деяний, в то время как в католической культуре поклонение канонизированным заступникам играло гораздо большую роль в духовной, сугубо религиозной сфере, в мистическом единении с "небом", побуждая человека в минуту опасности реже апеллировать к помощи святых защитников.

Доклад о мирских и крестильных именах русских князей XI–XIII в., сделанный Ф.Б. Успенским и А.Ф. Литвиной, был зачитан перед докладом Л.А. Софроновой об "именах" литературных произведений. Оба доклада в определенном смысле составили единое целое – в них шла речь об имени светском и имени сакральном (о мирском и крестильном – в первом случае, о сакральных названиях и светском тексте – во втором). Успенский и Литвинова продемонстрировали, как происходило поименование русских князей, которое можно назвать двойственным, объяснили необходимость дополнения крестильного имени именем мирским. Использование в памятниках того или иного из имен князей позволяет установить его статус, значение, степень участия персонажа в описываемом историческом событии, реконструировать скрытый пафос или "двойное" содержание источника. Таким образом, сакральное и светское сталкивались здесь на предельно малом пространстве. Софронова, исследуя названия произведений русской и польской литературы XIX–XX вв., показала другой вариант соотношения сакрального и светского. Здесь сакральное как бы не входит

в пределы светского и останавливается перед ним, концентрируясь в заглавии, что, тем не менее, решительно влияет на семантическую структуру произведения. Это может быть имя библейского персонажа, цитата, которая не всегда остается неизменной, а также снижается и пародируется. Скрытые в используемых авторами терминах и элементах аллюзии и неявное цитирование приводят к обогащению смыслового поля произведения, придают ему зачастую иные оттенки, но так или иначе стремятся повысить его статус.

Доклады, посвященные иконе и живописи, были особенно многочисленны. Этот блок объединил выступления Е.Б. Громовой, О.Ю. Тарасова и аспирантки МГУ Н.В. Василенко. Громова на малоизвестном материале показала, как символические ряды икон сопровождали русских государей от рождения до кончины, как в повседневную жизнь входили эти сакрально отмеченные элементы культуры и как они сами переживали соприкосновения с ней (ср. мёрные иконы). Она констатировала, что к XVI в. этот "личный" ряд икон начинает занимать слишком значительное и неподобающее ему ранее место, нарушая важнейшую составляющую понятия "сакральность" – нахождение вне времени.

Иное восприятие иконы в русской культуре в начале XX в. показал Тарасов. Вопреки существующему мнению о господстве традиционно религиозного восприятия сакральной живописи в дореволюционной России, докладчик представил свои наблюдения над проблемой рамы средневековой иконы как границы между сакральным и мирским, доказав способность рамы насыщаться сакрализованными смыслами и влиять на художественное пространство – в частности, в музее. Докладчик обратился к анализу принципов формирования музейной экспозиции икон в Музее императора Александра III в Петербурге в 1914 г. (ныне собрание Русского музея), в которых, на его взгляд, создатели исходят из нового понимания иконы как произведения высокого искусства. Таким образом, он рассмотрел границу между сакральным и светским в ее конкретном, предметном воплощении.

Разнонаправленные движения сакрального и светского начал прослеживаются постоянно, причем это движение определенным образом влияет на тип сакрализованной формы. Василенко показала это в докладе об особенностях немецкого створчатого алтаря. Синтезирование сакрального и светского здесь происходит внутри пространства сакрального искусства. Кроме того, докладчик затронула вопрос о роли светских вкусов и пристрастий заказчика и веяниях моды в процессе создания икон.

Взаимовлияние различных национальных школ иконописания чрезвычайно важно и для славянских культур, особенно тех, которые находились под воздействием немецкой культуры.

Следующие два выступления рассматривали "поведение" сакрального в живописных композициях различных художников двух разных эпох: XVII и XX в. В.А. Максимович увидел совершенно другой вариант проведения границы между сакральным и светским в придворном польском искусстве XVII в., вопрос о которой в свое время занимал Ю.М. Лотмана и ряд видных польских искусствоведов. Он выявил принцип последовательного перевода из светского пространства в сакральное с целью поднятия статуса последнего. Анализ полотна "Мистическое обручение св. Екатерины" позволил исследователю предложить гипотезу, убедительно объясняющую причины создания портрета и – как и в предыдущем докладе – выявить источник художественного влияния на заказчика картины. По его мнению, традиционная аллегория, представленная в картине, не всегда оправданно интерпретируется исследователями как дань моде, но является осознанной попыткой художника воплотить идеалы янсенизма в художественной форме.

Н.В. Злыднева, обращаясь к советской эпохе, рассмотрела жанровые композиции К.С. Петрова-Водкина сквозь призму погребального обряда, представив, таким образом, еще один вариант сакрализованных форм и самого сакрального, а также показав, что оптимизм эпохи не был единственным модусом культуры. "Расшифровка" Злыдневой смыслового подтекста и символики живописи Петрова-Водкина 1930-х годов основывалась, в частности, на ее сравнении с кодами и смыслами текстов произведений А. Платонова.

Блок докладов, посвященных театру, был представлен двумя выступлениями. Доктор К. Осиньская анализировала вхождение сакральных мотивов, идущих от архаических и православных обрядов, в творчество режиссера А. Васильева. Как показала исследовательница, в результате на глазах зрителей творятся явные сакрализованные формы, и театр вновь возвращается к своим истокам, к обряду, в котором должен принимать участие и зритель, так как перед ним разворачивается не просто зрелище, а сакрализованное действие. Однако Осиньская не усматривает в подобных поисках известного российского режиссера стремления лишить театральную постановку присущего ей разграничения сценического и зрительного простран-

ства, уничтожая таким образом пространственную границу между светским и сакральным.

Л.Н. Титова, обратившись к чешскому театру XVIII в., еще не разорвавшему связей с дидактической школьной драматургией, которая сама постоянно балансировала между сакральным и светским, говорила о появлении на пражской сцене пьесы о Фаусте. Она проанализировала слияние (еще не ставшее органическим) различных элементов прежних театральных постановок с новыми чертами зарождающегося чешского театра, а также убедительно показала зависимость репертуара и даже набора персонажей от предпочтений неусушенной публики. Появление пьесы о Фаусте, по ее мнению, явно сдвинуло существующий культурный баланс в сторону светского начала.

Таким образом, практически все участники конференции исследовали различные случаи образования сакрализованных форм. Они продемонстрировали, что существуют такие, которые как бы склоняются к сакральному или, напротив, высвобождаются из него и ориентируются на светское начало. И в том, и в другом случае окончательного разрыва не происходит, в чем и состоит общая их специфика в славянской культуре.

Лишь один доклад был посвящен сакрализации образа поэта. Т.И. Чепелевская показала эту ситуацию на примере словенского поэта Ф. Балантича, чья жизнь и творчество особенно тому не способствовали. Но трагическая гибель юного дарования, случайно оказавшегося в стане врагов, решила его судьбу в словенской поэзии – он стал сакрализованной фигурой. Этот частный случай на самом деле чрезвычайно типичен – аналогично выстраивались судьбы многих художников в славянской культуре.

Интересно, что существуют такие художественные явления, которые содержат в себе сакральное начало, данное только намеком: то в организации художественного пространства, то в цитате. Это почти что изолированное положение сакрального тем не менее определяет его многие смыслы, что показал Г.П. Мельников на примере романа М. Кундеры "Шутка". Анализ одного сакрального мотива в романе позволил докладчику сделать несколько существенных выводов не только о глубине замысла автора, но о, вероятно, осознанной "зашифровке" истинного пути героя, скрытого в ясном и очевидном на первый взгляд сюжете.

Два доклада были посвящены проблеме соотношения христианского и светского начал в сфере идей в первой половине XIX в. Процесс сакрализации истории через обосно-

вание новых принципов политики исследовала в польском ее варианте Н.М. Филатова. Она показала стремление одного из основоположников польского романтизма Й. Бродзиньского, еще не разорвавшего связей с предшествующей эпохой, создать текст, который по известной аналогии мог бы называться "Утешение историей". Автор его, скорбя вместе с соотечественниками после трагических разделов Польши, находит им сакральную параллель в образе Христа и, таким образом, сакрализует недавнее прошлое. Создав новую историософию, он предполагает необходимым с сакральными мерками подойти к политике и напоминает обществу о великих образцах, которым, по его мнению, нужно следовать государственным деятелям Европы. К вопросам устройства общества в мистическом и утопическом аспектах обращается и В.И. Новиков, рассмотревший возникновение и распространение идеи об устройстве фаланстера в российском обществе. Ему удалось убедительно доказать, что истоки популярности подобной концепции коренятся не только в особенностях христианского коллективизма – русской православной соборности, как принято полагать, но в русском масонстве и иных мистических учениях, распространенных в умах российских верхов в гораздо большей степени, нежели считалось ранее.

Оба указанных доклада еще раз подчеркнули, что имеющиеся в сознании людей и представления эпохи реконструируемые исследователями типы и формы взаимоотношений оппозиции сакральное/светское не просто существуют в тех или иных профессиональных и национальных культурах, но оказывают непосредственное влияние на разработку и последующее осуществление различных проектов изменения и реальной действительности.

Рассмотрение оппозиции сакральное/светское на примере отношения человека к природе было предпринято на материале двух различных видов культур. И.И. Свирида, исследуя топос сада, показала, что священное и мирское переплетаются в нем, что он оживает топос рая, лежащий в его основе, что он вторит ему, например, своей огражденностью (что сказалося и в славянской лексике – польски "сад" – *ogrod*, ср. русск. *огород*). Описание сада, особенно поэтическое, также обычно несет в себе значения рая и преломляет их в таких семантических категориях культуры XVIII–XIX вв. как радость или покой. Тема символического топоса сада была продолжена в совершенно иначе построенном, на первый взгляд, выступлении В.В. Усачевой. Она прибегла к исключительно кон-

кретным фактам, обратившись к материалам фольклора и этнолингвистики. Докладчица исследовала отношение к флоре в народной культуре, в котором обнаруживается определенная тенденция к сакрализации растений, что сказывается в их делении: одни посвящены Богу, другие связаны с дьяволом, нечистой силой и с таким евангельским персонажем, как Иуда. Очевидно, что, как это присуще народной культуре, данная система выстроена нечетко. Кроме того, даже среди родственных славянских культур одни и те же растительные элементы интерпретируются зачастую противоположным образом. Здесь важно отметить, что и в культуре Нового времени, и в архаических представлениях о мире природы явственно проступает сакрализованное к ней отношение. Налицо и определенное конфессиональное своеобразие, вызванное, вероятно, различной трактовкой библейских сюжетов.

Некоторые участники конференции обратились к более широкому предметному полю исследования, поставив целью проследить структурообразующее значение сакрального элемента или поля в рамках единой эпохи. Речь идет о докладах Л.А. Черной о русской культуре переходного периода, XVII в., и А.В. Деньщиковой о рудольфинской культуре. Первая изложила свою концепцию сакрализации светской зоны культуры и освящения жизни. Она показала, что этот процесс никак нельзя представлять в качестве равномерного и прямо направленного, так как культура знает и движения вспять. Рассмотрев один из памятников архитектуры XVII в., она исследовала, как происходил возврат к незыблемой границе между сакральным и светским в различных локальных зонах и как он материализовывался, например, в строительстве и укреплении алтарной преграды, в чем можно усмотреть определенную символизацию, без которой храм немислим. Материальная граница между сакральным и светским пространством, таким образом, не может оставаться неизменной даже тогда, когда являет собой установленный традицией и религиозной канон. Положение границы может определять частные культурные феномены, может оно фиксировать и тип культуры, как показала А. Деньщикова на примере эпохи рудольфинцев. Тогда чешская культура, насыщенная множеством инноваций, сакрализовала тайнознание, алхимию, что существенно повлияло на особенности маньеризма, особенно на его малые формы, прикладное искусство.

Своеобразие оппозиции сакральное/светское в славянском мире, как следует из материалов конференции и оживленной дискуссии,

можно определить следующим образом: очевидно существенное различие в православном и католическом мирах славянства; можно предполагать, что католический круг (а тем более протестантский) быстрее сдал свои позиции и обратился к светскому как одному из средств передачи религиозных ценностей; православный же круг славянской культуры и до сих пор тщательно охраняет границы сакрального ядра, проводя глубокое разделение между ним и светской жизнью. Но в советскую эпоху не только русская, но и иные, в частности славянские, литературы убедительно демонстрируют двойственность в процессах настойчиво декларируемой де-сакрализации: с одной стороны, сохраняется религиозное начало, но в иной, сакрально не закрепляемой форме, с другой – прежде освящаемые ценности и смыслы переводятся в светскую сферу культуры – в поле идеологии, патриотической фразеологии, научной объективности и т.п.

Характерная для славянской культуры убежденность в непознаваемости священного стала одним из условий его существования в ней. Поэтому образы "посвященных", пророков играют важную роль в формировании политического и художественного идеалов в мировоззрении образованных слоев общества. В православном круге культуры, традиционно сакрализующей Слово и его носителя, высокий статус и идеализация писателя и поэта сохраняются до сих пор.

Можно предположить также, что славянская культура отличается явно более длительным сопротивлением сакрального процессу обмирщения, десакрализация протекает в ней крайне болезненно. Специфика десакрализации состоит в том, что она не превращает сакрализованный культурный феномен в светский, но стремится или уничтожить его в вещественном плане, или осмеять, или отказать в прежде присущих либо заданных ему значениях. Сами эти действия свидетельствуют о том, что культурный феномен продолжает оставаться сакрализованным в сознании общества. В противном случае отношение к нему было бы более спокойным, ровным.

Подобная "сопротивляемость" провоцирует возникновение пограничных (во многих отношениях) явлений и форм культуры. Тем самым устанавливаются отношения особого типа, которые никак нельзя назвать сотрудничеством. При динамическом взаимодействии сакрального и светского возникают особые формы смешанного типа, именуемые сакрализованными. Они отрываются от светских, но все-таки не претендуют на полную идентификацию с сакральным. Сакрализован-

ные формы тяготеют к сакральному, но иногда их окончательно не достигают и отличаются от собственно сакрального, по выражению В.Н. Топорова, так же, как ритуал отличается от ритуализованных форм поведения. В них последовательно про-

является тенденция возвысить жизнь, культуру, искусство до статуса сакрального, не лишая, однако, все эти феномены их светского начала.

© 2002 г. *М.В. Лескинен*

Славяноведение, № 5

Международный симпозиум
"Словенский литературный язык – актуальные вопросы
и исторический опыт" (Obdobja 20).
К 450-летию издания первой словенской книги

5–7 декабря 2001 г. в Любляне прошел юбилейный двадцатый Международный научный симпозиум серии "Обдobja" "Словенский литературный язык – актуальные вопросы и исторический опыт" (Obdobja 20), посвященный 450-летию издания первой словенской книги. Он был организован отделением славянских языков и литератур Люблянского университета при содействии Центра словенского языка как иностранного и финансовой поддержке Министерства образования, науки и спорта Республики Словения.

На открытии симпозиума выступили министр иностранных дел д-р Димитрий Рупел, министр образования д-р Люция Чоп, министр культуры Андрея Рихтер, декан философского факультета Люблянского университета проф. д-р Людвиг Хорват, председатель симпозиума, проф. д-р Ада Видович Муха, руководитель Центра словенского языка как иностранного, доц. д-р Марко Стабей. Лейтмотивом всех выступлений стала мысль, что тема симпозиума имеет символическое значение, так как он в рамках Европейского года языков, организованного Советом Европы и Европейского Сообщества, открывает дискуссию об их актуальной роли. После вступления в Европейский Союз Словения, как и другие государства-претенденты, столкнется со многими проблемами, связанными с языковой политикой. Ранее уже были приняты постановления, декларирующие равноправие всех языков, в связи с этим особое внимание должно быть уделено подготовке профессиональных переводчиков, организации курсов словенского языка для сотрудников европейских организаций и т.п. –

т.е. вопросам популяризации словенского языка. Для понимания места и роли словенского языка в развитии международных контактов на пороге вступления Словении в Европейский Союз особую важность приобретает словенское языкознание.

В симпозиуме приняли участие более шестидесяти выдающихся специалистов и молодых исследователей из Великобритании, Германии, Италии, Македонии, Нидерландов, Польши, России, Румынии, Словакии, Словении, США, Украины, Хорватии и Чехии. Рабочими языками симпозиума официально были заявлены словенский, русский и английский, хотя по предложению профессора Йозе Топоришича некоторые доклады были прочитаны на других славянских языках (чешском, словацком).

К началу симпозиума были опубликованы тезисы докладов, сборник же докладов планируется издать осенью 2002 г.

Представленные доклады тематически можно распределить по нескольким основным группам: национальные языки (прежде всего словенский) в современной Европе и в общеевропейском процессе интеграции; проблема национальных меньшинств; роль литературных языков, вопрос языковой нормы и языковой политики, проблема языковых источников; в блоке исторического языкознания особое внимание было уделено периоду XVI в., а также процессу формирования специальной терминологической лексики словенского языка в XIX в.

Проф. д-р Бреда Погорелец, чье выступление открывало научную программу и тематический блок, посвященный проблемам литературного (стандартного) языка, в докладе

"Словенский литературный язык – норма и жизнь" говорила о том, что, с одной стороны, на развитие и распространение языка влияет интенсивность общественных процессов, с другой, существование и развитие языка формирует и определяет само общество, которое использует язык как средство не только коммуникации, но и самоидентификации. Все это особенно значимо при развитии контактов с другими культурами и языками.

В следующем тематическом блоке "Национальные языки в современной Европе" следует отметить доклад "Современное положение национальных языков в свете языковой политики" проф. Ады Видович Мухи, которая затронула ключевой вопрос, как в условиях глобализации общества, когда выбор языка как средства общения определяется его конститутивной ролью, предотвратить сужение областей использования национального языка и как следствие этого естественное ограничение языковых возможностей его носителей. Эту проблему должна решить соответствующая языковая политика.

В своем докладе "Будет ли одного языка достаточно? Многоязычность в одноязычии" доц. Марко Стабей, обратив внимание на проблему многоязычности в современной языковой ситуации Словении, предложил выделить в ней два основных аспекта: первый должен регулировать представленность иностранных языков и определять их взаимоотношения со словенским языком в рамках территориальной и институциональной организации Республики Словения (без учета особой ситуации взаимоотношений языков в областях с диглоссией). Задачи второго – планирование языковых возможностей представителей языковой и/или государственной общности.

На примере ситуации в областях Краса и словенской Истории Рада Цосутта в докладе "Многоязычность на территории распространения диалектов Краса и Истрии" обозначила место диалектов (региональных вариантов языка) в приграничных областях в связи с процессами языковой глобализации. Проникновение заимствований из итальянского и немецкого в диалекты Краса и Истрии и славянских заимствований в истрийский вариант итальянского обеспечивает взаимопонимание народов. Спонтанные процессы взаимопроникновения лексик из одного языка в другой и наоборот свидетельствуют о воплощении идеи мирного сосуществования и коммуникации народов в условиях, когда сохраняется и укрепляется осознание собственной этнической и языковой принадлежности и при этом развивается уважительное отношение и терпимость к самоопределению соседей.

Большое внимание было уделено проблемам исторического языкознания. Главным героем докладов этого блока стал Примож Трубар, словенский протестантский проповедник, в 1550 г. издавший две первые книги на словенском языке "Абecedариум" и "Малый катехизис".

Так, например, в своем докладе "Забота Примож Трубара об автономности литературного словенского языка и о значении народного языка" Янез Ротар представил взгляд П. Трубара на вопрос формирования общесловенского языка. Главным принципом Трубара было требование доходчивости языка для всех жителей словенских земель, вследствие чего он зачастую заменял "непонятные" слова литературного языка, заимствованные из церковнославянского, на всем понятные, широкоупотребительные германизмы и искаженные немецкие слова.

Представленные доклады свидетельствуют о том, что исследовательская работа в области исторического языкознания (не только словенского) ведется в различных направлениях: процессы формирования словенского литературного языка, формирование региональных литературных языков, отношение между литературным языком и диалектами, вклад отдельных деятелей в процесс формирования литературного языка и в изучение истории языка, лексикографические разработки, сопоставительное изучение языков и т.д.

В ряде докладов были представлены новые возможности и перспективы, появившиеся с развитием компьютерной лингвистики: "Некоторые количественные показатели словенского языка" П. Якопин; "Языковые источники как основа языкового описания" В. Горьянц; "Язык в сети Интернета" С. Краньяц.

Не остался в стороне и русский язык. Докладчики интересовали вопросы взаимоотношения современного русского и церковнославянского языков ("Некоторые моменты взаимоотношений между церковнославянским и литературным русским языками в XX в." А. Дерганц), современное состояние, процессы и явления, происходящие в настоящее время ("Социально обусловленные процессы в русском языке на рубеже XX–XXI в." Л.П. Крысин; "О языке русского зарубежья" Е.А. Земская).

Тематика симпозиума нашла отражение в выставке, подготовленной сотрудниками библиотеки отделения славянских языков и литератур философского факультета Люблянского университета.

Международная научная конференция "Центральная и Юго-Восточная Европа: литературные итоги XX века"

20–22 ноября 2001 г. в Институте славяноведения РАН состоялась международная научная конференция "Центральная и Юго-Восточная Европа: литературные итоги XX века". Подготовили и провели конференцию сотрудники Центра по изучению современных славянских литератур (руководитель Центра – д-р филол. наук С.А. Шерлаимова). В работе конференции приняли участие более пятидесяти ученых из Белоруссии, Венгрии, Германии, Польши, России, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Швейцарии. С докладами выступили и сотрудники кафедры славянской филологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Мероприятие такого масштаба давно уже не проводилось литературоведами Института.

Хронологический рубеж, открывающий новое столетие, и осознание определенного завершения целой исторической эпохи в жизни народов Центральной и Юго-Восточной Европы обусловили необходимость проведения подобного научного мероприятия. Литературы этого региона были свидетелями и активными участниками всех основных событий века. Общие закономерности мирового литературного процесса получили в них своеобразное преломление.

В задачу конференции не входило последовательное рассмотрение неисчерпаемого историко-литературного материала. В центре внимания участников конференции оказались важнейшие особенности развития литератур региона, характер и значение художественных ценностей, созданных выдающимися представителями этих литератур в XX в. Доклады участников были сконцентрированы вокруг нескольких проблемно-тематических узлов.

Особенностям движения национальных литератур в европейском контексте были посвящены доклады Х. Ольшовского (Берлин) "Европейский дискурс в польской литературе XX в.", А.М. Брезуляну (Бухарест) "Европейские горизонты румынской литературы в межвоенный период", Й. Горетича (Дебрецен) "Тематика Центральной и Восточной Европы в венгерской литературе наших дней", Ю. Богданова (Москва) "Словацкая литература XX в.: проблемы синхронизации

национального и общеевропейского литературного развития", А. Шешкен (Москва) "Общие закономерности и национальное своеобразие в развитии македонской литературы XX в".

Ряд докладов освещал проблемы поэтики, особенности развития различных художественных направлений, жанров и стилей в литературах региона: И. Адельгейм (Москва) "Обновление психологического языка в межвоенной польской прозе", Г. Андялоши (Будапешт) "Видение апокалипсиса и венгерская проза постмодернизма", П. Личка (Брно) "Очерк эволюции чешской поэзии после 1948 г.", Н. Пономарева (Москва) "Стремление к синтезу. Художественные тенденции в болгарской прозе и драматургии второй половины XX в.", Ю. Созина (Москва) "Типы и образы героев в словенском романе 1970-х – 1980-х годов", Л. Широкова (Москва) "Словацкая драматургия XX века: становление национальной модели, жанрово-стилевые особенности развития".

Большое внимание собравшихся привлек блок докладов, в которых шла речь о таком явлении современного литературного процесса, как "литература факта", которая по особому осмысляет главные потрясения XX в. и выводит на первый план "парабеллетристические" жанры: доклады С. Мусяенко (Гродно) "Чернобыльская трагедия в литературе факта", В. Тихомировой (Москва) "Польская лагерная проза как феномен литературы XX в.", В. Хорева (Москва) «Литература "человеческого документа". Польский опыт 60–90-х годов».

Один из центральных вопросов, над которым размышляли в своих докладах многие выступавшие, был связан с особенностями развития литературы в условиях серьезных идеологических изменений, характеризующих современную действительность. Об этом шла речь в выступлениях Л. Водички (Брно) "Драма и идентичность. К проблеме формирования национальной идентичности чешской драмы XX в.", Т. Кубичека (Брно) "Движение чешской прозы с общественно-политической тематикой во второй половине XX в. Метаморфозы главного героя", Н. Куренной (Москва) "Социалистический реализм как

историко-культурная проблема", Г. Ритца (Цюрих) "Новая идентичность – старые формы. Польская литература после перелома", М. Степеня (Краков) "Польские писатели в ситуации выбора (1945–1948)", А. Флакера (Загреб) "О глобализации пространства в хорватской литературе XX в.", С. Шерлаимовой (Москва) "Чешская литература XX в. в плену идеологии", М. Яворника (Любляна) "О предсказуемости и непредсказуемости в эпоху глобализации культуры".

Проблемы национальной мифологии были затронуты в докладе М. Фридмана (Москва) "Деградация мифа в XX в. (на материале румынской литературы)".

Значительный интерес участников конференции вызвала и литературная классика XX в. Какие литературные произведения ушедшего столетия оказались столь значительными, что их можно назвать не только художественными открытиями своего времени, но и явлениями, во многом определяющими движение национальных литератур и в XXI в.? На этот вопрос попытались ответить в своих выступлениях Л. Будагова (Москва) "Чешский сюрреализм. Динамика и функция", Ю. Гусев (Москва) "Эволюция понимания классики в XX в. (на материале русской и венгерской литератур)", Г. Ильина (Москва) "Лики Мирослава Крлежи (трагедия левой художественной интеллигенции XX в.)", А. Каппанёш (Будапешт) "Наш современник – авангард", С. Клементьев (Москва) «"Магическая действительность" книг Б. Шульца», А. Машкова (Москва) "Словацкий натурализм и "философия жизни", А. Мейер-Фраатц (Франкфурт-на-Майне) "Формирование боснийской идентичности в литературе: Андрич, Селимович, Карахсан", В. Середа (Москва) «"Небесная гармония" Петера Эстерхази: последний венгерский роман XX в.», Л. Сёреши (Будапешт) "Догадки о XX в.", Н. Старикова (Москва) «Феномен В. Бартола. Национальное и универсальное в романе "Аламут"», Е. Цыбенко (Москва) "Проблема классики в польской литературе XX в. Проза

Ярослава Ивашкевича", Н. Шведова (Москва) "Эхо символизма: лирика Ивана Краско и словацкая поэзия XX в."

Участники конференции говорили и о проблемах перевода и восприятия художественного произведения иной культурной средой: И. Границ (Будапешт) "Русская советская литература глазами венгерского читателя", М. Куса (Братислава) "Перевод и национальная литература в словацкой культуре XX в.", Б. Подлесник (Любляна) "Анна Ахматова в словенской культуре XX в."

Актуальность обсуждавшихся проблем, продуктивная дискуссионность выступлений, основательность задач, поставленных организаторами и участниками конференции, привлекли внимание не только научной общественности, но и средств массовой информации: работу международной конференции освещало радио "Голос России".

Накануне мероприятия отдельной брошюрой были опубликованы тезисы докладов. В настоящее время по материалам конференции готовится к печати сборник статей.

Международная научная конференция "Центральная и Юго-Восточная Европа: литературные итоги XX в.", как резюмировали все ее участники и гости, стала существенным этапом как с точки зрения подведения некоторых литературных итогов XX в., так и в определении перспектив дальнейшего литературного развития данного региона в XXI в. Хочется надеяться, что осмысление сложных процессов, происходящих в современной литературе, будет и в дальнейшем происходить в тесном сотрудничестве специалистов стран Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы. Проведенная конференция доказала преимущество такого коллективного обмена мнениями, выявив общие и специфические особенности развития национальных литератур в этом обширном и по-своему уникальном регионе Европы.

© 2002 г. М. Проскурнина

Конференция по славянской филологии в МГУ

30–31 октября 2001 г. на филологическом факультете МГУ состоялась организованная кафедрой славянской филологии международная конференция "Исследование славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания".

На конференции было представлено более сорока докладов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Самары, Уфы, Минска, Киева, Риги, Любляны, Праги, тематика которых охватила сопоставительное изучение славянских языков на всех уровнях, вопросы исторической фонетики, морфологии, словообразования, лексикологии, этимологии, этнолингвистики, славянской ареалогии, истории литературных языков, экспериментальной фонетики, поэтики, методики преподавания, компьютерные методы обработки языковых данных, новые лексикографические проекты.

Приоритетным направлением конференции стало сопоставительное славянское языкознание. В.Ф. Васильева в докладе "Типология, характерология и сопоставительная лингвистика" показала важность для сопоставительных исследований характерологической методики. Доклад Р.П. Усиковой "К вопросу о сопоставительном изучении близкородственных славянских языков: македонский и болгарский" содержал анализ основных сходств и различий в системе глагольных форм и категорий названных языков. Т.С. Тихомирова выступила с докладом "Русско-польские узуально-ситуативные эквиваленты со значением согласия/несогласия", в котором поднимается вопрос о необходимости исследования эквивалентки типовых речевых высказываний, определяемых социолингвистическими и прагматическими особенностями ситуации. В докладе О.О. Лешковой "Эволюция сопоставительных исследований сочетаемости лексем" был дан очерк истории изучения сочетаемости и приведен ряд ярких примеров поведения русских и польских прилагательных со значением размера. В выступлении А.И. Изотова "Структура функционально-семантической категории побуждения в современных чешском и русском языках" были представлены результаты сопоставления и классификация побудительных речевых актов в указанных языках. Н.Н. Ключко в докладе "Эмоциональные профили славянских

политических дискурсов" выявила набор ключевых слов, доминирующих в современных СМИ Югославии и Хорватии (враг, война, террор и т.д.). Большая часть представленных исследований носила характер русско-инославянских конфронтаций: В. Мистрова – "Черты разговорной фонетики в русском и чешском языках"; Л.А. Сергеева – "Оценочные концепты в русском и чешском языках и мифологема сознания", А.В. Савченко – "Фразеологические идеологема в аспекте интертекстуальности (на материале произведений Вен. Ерофеева и Й. Шкворецкого)", Л.Б. Карпенко – "Особенности оформления категории рода в болгарском языке", Е.Ю. Иванова – "Бытийные предложения в русском и болгарском языках", В.Н. Зенчук – "Сопоставительный подход как основа и метод в практическом курсе сербского языка", Л.И. Байковой – "Некоторые проблемы обучения устной речи на чешском языке студентов-филологов".

Историческая проблематика составила второе доминирующее направление конференции. В выступлении А.А. Поликарпова "Зависимость сохранности общеславянской лексики во времени от категориальной принадлежности и возраста слов" были представлены результаты статистической обработки лексического материала, содержащегося в первых пяти томах "Этимологического словаря славянских языков" под ред. О.Н. Трубачева. Ж.Ж. Варбот посвятила свое выступление истории формирования двух подходов к организации этимологического и диалектного словаря: пословного и погнездового, остановившись на огромной значимости последнего для этимологических исследований. И.П. Климов выступил с докладом "К происхождению составной хоронимии Руси (Белая, Черная, Красная, Великая, Малая Русь)". Н.Е. Ананьева в докладе "Начинательный способ глагольного действия в древнепольском языке" на материале древнепольского словаря проанализировала особенности реализации семантики начала префиксами *po-*, *wz-*, *za-*. Историческому словообразованию был посвящен и доклад Р.В. Железновой "Из истории имен существительных агентивно-профессиональной семантики в праславянском языке". О.С. Плотникова в докладе "К проблеме

диалектной дифтонгизации вокалов в словенском языке" остановилась на причинах различной дифтонгической рефлексации долгих гласных в диалектах словенского языка. В выступлении А.В. Тер-Аванесовой "Окончания счетной формы существительных а-склонения, восходящие к флексии *pop.-ass. dualis*, в восточнославянских диалектах" были обрисованы ареалы распространения счетной формы с окончанием, представляющим рефлекс праславянских флексий. Реконструкции фрагментов древней славянской аксиологической системы были посвящены доклады Е.И. Якушкиной "Семантика корней **rak-* / **opak-*" и Н.С. Ковалева "Семантика оценки в сравнительно-историческом аспекте (на материале русского и сербского языков)", в котором были рассмотрены некоторые аспекты противопоставления свой – чужой.

Особого внимания заслуживает поднятый на конференции вопрос о языковом членении Славии. В докладе В.П. Гудкова "О статусе, структуре и названии литературного языка боснийских мусульман" была рассмотрена языковая ситуация на территории современной Боснии и Герцеговины, где в последние годы утверждается идея существования особого "боснийского" языка, характеризующегося, главным образом, высокой частотностью фонемы "х" и большим количеством турцизмов, но с лингвистической точки зрения, бесспорно, представляющего собой то, что ранее было принято называть сербохорватским языком. В докладе С.С. Скорвида "Серболужицкий (серболужицкие) и русинский (русинские) языки: к проблематике их сравнительно-исторической и синхронной общности" констатируется единство лужицкой языковой общности, параллелью которой служит создание общерусинского литературного языка.

Значительное внимание на конференции было уделено вопросам истории и типологии славянских литературных языков. О.А. Остапчук в докладе "К вопросу о типологическом профиле украинского литературного языка" остановилась на типологических сближениях с польским и русским литературными языками, пережитых украинским языком на разных этапах своего развития. Ф.Б. Людоговский в выступлении "Актуальные проблемы изучения и преподавания современного церковнославянского языка" обратил внимание аудитории на необходимость его лексикографического и грамматического описания. Вопросам развития славянских литературных языков были также посвящены доклады Д. Маркои – "Феномен прекурско-словенского языка: его возникновение и роль в формировании

общесловенского литературного языка"; Г.К. Венедиктова – "О номинации новых реалий в современном болгарском литературном языке на стадии его становления"; А.А. Зайцева – "Сопоставление текстовых единиц устной публичной речи с их аналогами в кодифицированном языке"; О.М. Демской-Кульчицкой – "Корпус текстов украинской периодики".

Большой интерес представили доклады, посвященные новейшим словарным проектам. Н.В. Уфимцева в выступлении "Славянский ассоциативный словарь как новый инструмент изучения славянских языков и культур" представила лексикографический проект, выполненный в рамках исследования "Сопоставительное исследование национального языкового сознания славян" на базе ассоциативных экспериментов с носителями белорусского, болгарского, сербского, русского и украинского языков. Презентация последних достижений русской и славянской лексикографии содержалась в выступлениях Е.А. Карпиловской – "Словари гнездового типа как новый этап развития украинской лексикографии", Л.А. Лебедевой – "Принципы составления двуязычного (чешско-русского) словаря устойчивых сравнений", Л.Л. Шестаковой – "Русская писательская лексикография: состояние и тенденция развития", Ю.Ю. Юдовой – "О необходимости создания словаря сербских и хорватских лексических отличий".

Серия докладов касалась разных аспектов изучения структуры отдельных славянских языков. Н.О. Онипенко выступила с докладом "Языковые средства разных уровней, маркирующие коммуникативный регистр речи". А.Н. Дмитриева, выступившая с докладом "Некоторые статистические характеристики македонского языка", познакомила аудиторию с методикой проведения машинных статистических исследований фонетики. Иванова И.Е. в докладе "Пунктуационное выделение анафорических элементов в сверхфразовых единствах в сербском языке" выявила набор связующих разные предложения лексических коннекторов. Дискурс спортивной периодики был рассмотрен в докладе Ю.О. Андрейчука "Информативность газетного заголовка".

Языку поэзии были посвящены доклады В.Г. Кульпиной – "Соотношение этнопоэтической созерцательности и научной когниции в цветономинации светил в русском и польском языках" и В.К. Радзиховской – "Поэтический текст как источник лингвистической информации", рассматривающий категорию взаимности на материале поэзии Л.Е. Керна.

В выпущенном заблаговременно сборнике материалов конференции [1] помещена

программа заседаний, тезисы докладов, а также полезная информация о кафедре славянской филологии МГУ: состав и специализация преподавателей, перечень защищенных в последнее время диссертаций, тематика дипломных работ, темы спецкурсов. Опубликованные тезисы дают представление о непрочитанных докладах, в том числе о работе Т.Н. Молошной "Типология грамматических категорий глагола в современных славянских языках", Г.Ф. Ковалева – "К значению славянского наименования *Плеяды*", А.Р. Багдасарова – "Некоторые тенденции нормирования современного хорватского литературного языка (на материале "Хорватского орфографического кодекса)" С.С. Хоронко – "Употребление глаголов речи в старославянском тексте", Т.В. Шведчиковой – "Славянские наименования животных в сопоставительном аспекте", Б.Л. Бойко – "Экспрессивная лексика русской военно-про-

фессиональной речи", К.В. Яцевича – "К вопросу о сходствах и различиях библейских выражений в различных языках".

Благодаря своему широкому профилю, конференция представила картину научной славистической жизни в целом ряде университетов и академических институций России и других славянских стран и продемонстрировала актуальные направления ведущихся в них исследований.

© 2002 г. *Е.И. Якушкина*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исследование славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания. Информационные материалы и тезисы докладов международной конференции. М, 2001. 152 с.

К выходу в свет "Грамматики болгарского языка для владеющих русским языком"

Минувший 2001 год в жизни кафедры славянской филологии и филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова был отмечен важным событием: вышел в свет труд Н.В. Котовой и М. Янакиева – фундаментальная "Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком".

Работу над книгой Н.В. Котова, доцент филологического факультета МГУ, и М. Янакиев, профессор Софийского университета, в основном завершили еще в 1985 г. Тогда же их сочинение было рекомендовано к печати, однако из-за финансовых затруднений опубликовать его стало возможным только теперь, к сожалению, уже после кончины М. Янакиева, умершего в 1998 г. Авторы посвятили книгу памяти учителя – Самуила Борисовича Бернштейна.

Концепция этого новаторского произведения основывается на следующих принципиальных положениях: во-первых, предлагаемое описание эксплицитно глоттометрично (каждое явление характеризуется с точки зрения его частотности, и предпочтение отдается наиболее частым явлениям); во-вторых, подлинными объектами грамматики авторы признают так называемые сихноморфемы (наиболее частотные морфемы языка) и в силу этого целиком строят свое исследование на базе именно морфемы как основной языковой единицы; в-третьих, в работе четко разграничиваются явления языка, воспринимаемые зрением, и явления языка, воспринимаемые слухом.

"Грамматика" Н.В. Котовой и М. Янакиева содержит описание фонетики современного болгарского языка (базируясь на характеристике работы мышц речевого аппарата), морфематики (представляет собой исследование употребления наиболее частых морфем и их наиболее частых сочетаний) и морфосинтактики (заключается в анализе построения болгарских фраз различного типа в повествовании, описании и диалоге). При этом факты болгарского языка последовательно сопоставляются с аналогичными явлениями в русском языке.

В начале декабря 2001 г. "Грамматика болгарского языка" Н.В. Котовой и М. Янакиева была представлена научной общест-

венности. В этом торжественном акте, состоявшемся 6 декабря в Пушкинской гостиной филологического факультета МГУ, приняли участие министр культуры Болгарии проф. Б. Абрашев, представители посольства Болгарии в России и сотрудники Болгарского культурного института, специалисты из Института славяноведения РАН, преподаватели болгарского языка ряда московских вузов, аспиранты и студенты.

Открывая презентацию, декан филологического факультета МГУ проф. М.Л. Ремнева поздравила присутствующих со знаменательным событием и подчеркнула большое значение труда Н.В. Котовой и М. Янакиева для современной лингвистики. Заведующий кафедрой славянской филологии доц. В.П. Гудков напомнил собравшимся о высокой оценке, которую дали в свое время работе Н.В. Котовой и М. Янакиева такие авторитетные ученые, как проф. С.Б. Бернштейн, акад. Н.И. Толстой, чл.-корр. РАН В.А. Дыбо, назвавшие "Грамматику болгарского языка" новаторским трудом, открывающим перед лингвистами новые перспективы, способствующим развитию грамматической мысли, прогрессу языкознания в целом.

Министр культуры Болгарии проф. Б. Абрашев выразил от имени болгарского правительства глубокую признательность филологическому факультету МГУ и кафедре славянской филологии издание замечательного труда, ставшего результатом совместной деятельности проф. М. Янакиева, яркого, оригинально мыслящего ученого, и его талантливой русской соратницы Н.В. Котовой. Эта книга может, по мнению проф. Б. Абрашева, восприниматься как своеобразный духовный мост между Россией и Болгарией.

Директор Института славяноведения РАН чл.-корр. РАН В.К. Волков говорил о произведении М. Янакиева и Н.В. Котовой как о вдохновляющем образце плодотворного сотрудничества между Россией и Болгарией. Весомым вкладом в развитие болгаристики как в России, так и в Болгарии, в развитии славистики и лингвистики в целом назвал "Грамматику болгарского языка для владеющих русским языком" ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН

д-р филол. наук Г.К. Венедиктов, подчеркнув при этом практическую ценность представленной в "Грамматике" уникальной лингвострановедческой информации. Д-р филол. наук Н.Е. Ананьева выразила уверенность, что публикация книги Н.В. Котовой и М. Янакиева окажет позитивное влияние на теорию и практику описания языковых систем.

Вниманию собравшихся было предложено полученное из Болгарии письмо Н.В. Котовой со словами благодарности декану филологического факультета МГУ проф. М.Л. Ремневой и заведующему кафедрой славянской филологии доц. В.П. Гудкову. Одновременно Н.В. Котова выразила признательность студентам-болгаристам Софийского и Московского университетов нескольких поколений, участвовавшим в накоплении и обработке языкового материала.

Затем выступили ученики Н.В. Котовой и М. Янакиева. Т.В. Ларкина поделилась воспо-

минаниями о своей студенческой исследовательской работе в семинаре, посвященном проблемам описания особенностей болгарского языка с помощью глоттометрического метода. Людьми, безгранично преданными делу, в полном смысле слова учеными-подвижниками назвала своих учителей канд. филол. наук И.А. Седакова. Выразив благодарность филологическому факультету, кафедре славянской филологии за издание выдающегося лингвистического труда, она отметила настойчивость В.П. Гудкова, годами добивавшегося выпуска книги.

Около двадцати экземпляров "Грамматики болгарского языка для владеющих русским языком" были вручены заинтересованным участникам собрания, в частности представителям посольства Болгарии.

© 2002 г. *О.А. Ржанникова*

Новые издания Института славяноведения РАН

В 1999–2002 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:

* Автопортрет славянина. М., 1999.

* Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917–1990-е годы). Центральноевропейские исследования. М., 1999. Вып. 1.

Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 1999.

Власть и интеллигенция. Культурная политика в странах Центральной и Восточной Европы. 1920–1950-е годы. М., 1999. Вып. 3.

Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. М., 1999.

* Геннадийос. К 70-летию академика Г.Г. Литаврина. М., 1999.

Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999.

* Греческая культура в России. XVII–XX вв. М., 1999.

Дмитриев М.В., Заборовский Л.В., Турилов А.А., Флоря Б.Н. Брестская уния 1596 г. и обществ.-венно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. Ч. II: Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. М., 1999.

Коровицына Н.В. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX в. М., 1999.

* *Лабынцева Ю.А., Щавинская Л.Л.* Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной Польши: Исследования и публикации. М., 1999.

Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999.

Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999.

* Польша и Европа в XVIII в. М., 1999.

Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999.

* Славянский альманах. 1998. М., 1999.

Фрейдзон В.И. Нация до национального государства. Историко-социологический очерк Центральной Европы XVIII в. – начала XX в. Дубна, 1999.

* *Адельгейм И.Е.* Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка. М., 2000.

* *Аксенова Е.П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.

* А.С. Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000.

* Балто-славянские исследования. 1998–1999. М., 2000.

Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.

* *Бернштейн С.Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000.

* *Головачева А.В.* Стереотипные ментальные структуры и лингвистика текста. М., 2000.

* *Задорожник Э.Г.* Социал-демократия в Центральной Европе. М., 2000.

* *Калиганов И.И.* Георгий Новый у восточных славян. М., 2000.

* *Кирилина Л.А.* Словенцы и революция 1848–1849 гг. М., 2000.

* Книга в пространстве культуры. М., 2000.

Лабынцева Ю.А., Щавинская Л.Л. Православная литература белорусов современной Польши. М., 2000.

* *Маркович Д.Ж.* Разговор с друзьями. М., 2000.

* Международные организации и кризис на Балканах. Документы. М., 2000. Тома I, II.

* *Плотникова А.А.* Словари и народная культура. Очерки славянской лексикографии. М., 2000.

Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.

Поляки и русские. Взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.

* Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII века. М., 2000.

Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 1–2.

* Славянские народы: общность истории и культуры. М., 2000.

* *Хаванова О.В.* Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: движение 1790 года. М., 2000.

- * Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности. М., 2000.
 - * Беседы на Лубянке. Следственное дело Дёрдя Лукача. Материалы к биографии. М., 2001.
 - * Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М., 2001.
 - * *Гугнин А.А.* Серболужицкая литература XX века. М., 2001.
 - * Из Варшавы: Москва, товарищу Берия. Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. М.-Новосибирск, 2001.
 - * Институт славяноведения. 1999–2001. М., 2001.
 - * Исследования по славянской диалектологии. 7. М., 2001.
 - * История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. 3.
 - * *Костюшко И.И.* Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы). М., 2001.
 - * *Молошная Т.Н.* Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках. М., 2001.
 - * *Николаев С.Л., Толстая М.Н.* Словарь карпатоукраинского торуньского говора. М., 2001 г.
 - * *Смирнов Л.Н.* Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. М., 2001 г.
 - * *Стыкалин А.С.* Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001.
 - * *Фрейдзон В.И.* История Хорватии. М., 2001.
 - * За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002.
 - * *Studia Polonica.* К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.
- Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения РАН, комн. 921. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Dostal M.Yu.</i> (Moscow). Czech Contacts of I.I. Sreznevsky in 1870ies (Toward Scholar's 190 th Anniversary)	3
<i>Grishina R.P.</i> (Moscow). Soviet Secret Services and an Coup d'Etat Which Did Not Take Place.....	15
<i>Kosik V.I.</i> (Moscow). A History of the Country, Which Had Never Been (Serbia in 1918–1941).....	22
<i>Juvan M.</i> (Ljubljana). Pushkin's and Prešern's Verses About Poetry	36
<i>Evstratova A.E.</i> (Moscow). Macedonian Literature in Yugoslavian Esthetic Discussions in 1950–1960ies.....	50
<i>Khorev V.A.</i> (Moscow). Literature of "Human Document". Polish Experience in 1960–1990ies	59

COMMUNICATIONS

<i>Gerchikova I.A.</i> (Moscow). Czechs in Russia: the History Continues	66
<i>Lapteva L.P.</i> (Moscow). J. Polishevsky (1915–2001). The Outstanding Czech Historian of XX Century in Memoriam.....	73

PUBLICATIONS

<i>Torbakov I.</i> (Kiev). V.I. Vernadsky's Letters to F.I. Rodichev	79
--	----

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Evstratova A.E.</i> F. Prešern – A.S. Puškin (ob 200-letnici njunega projstva)	95
<i>Musienko S.F.</i> История литератур западных и южных славян. Т. III	97
<i>Kalashnikov A.A.</i> Słowiańskie słowniki gwarowe.....	105
<i>Acarkina T.A.</i> M. Hrdlička. Předložky ve vyuce češtiny jako cizího jazyka	109

SCIENTIFIC LIFE

<i>Leskinen M.V.</i> Conference "Opposition Sacred/Secular in Slavic Culture"	111
<i>Filimonova T.</i> International Symposium "Slovenian Literary Language – Actual Questions and Historical Experience". Toward 450th Anniversary of the First Slovenian Book Publication	116
<i>Proskurnina M.</i> International Conference "Central and South-Eastern Europe: Literary Results of the XX Century"	118
<i>Yakushkina E.I.</i> Conference on Slavic Philology in the MSU	120
<i>Rjannikova O.A.</i> Presentation of "The Bulgarian Language Grammar for Russian-Speakers"	123
New Publications of the Institute for Slavic Studies, RAS	125

Технический редактор *В.М. Пахомова*

Сдано в набор 11.06.2002 Подписано к печати 20.08.2002 Формат 70×100¹/₁₆
Офсетная печать Усл.печ.л. 10,4 Усл.-кр.-отг. 5,4 тыс. Уч-изд.л. 12,0 Бум. л. 4,0
Тираж 508 экз. Зак. 6439

Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук. Институт славяноведения РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

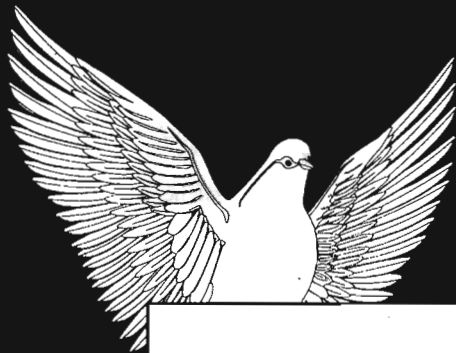
ПОДПИСКА-2003

— ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

1 ТОМ Российские и зарубежные газеты и журналы

2 ТОМ Книги и учебники



ПРЕС
1 ТОМ РОС
И З
ГАЗ
И Ж

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Журналы Российской академии наук можно выписать в любом почтовом отделении России по объединенному Каталогу Федерального управления почтовой связи (ФУПС). Академические журналы объявлены в этом каталоге в разделе “АПР”

